

Игорь Чичинов



ГИТТЕРБОЛА

Игорь Владимирович Чичинов

Гипербола

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70003309

SelfPub; 2023

Аннотация

Поскольку автору "далеко за", и его мировоззрение формировалось в годы СССР, книга состоит из коротких рассказов из жизни обычных людей и выдержана в классическом стиле советской и российской художественной прозы. Вероятнее всего, она подойдёт для читателей среднего и старшего возраста, выросших на произведения Шукшина, Чехова, Бунина. Впрочем, многие молодые люди также находят в ней что-то своё, близкое по духу. Не чужд автору оказался и такой жанр, как фантастика.

Игорь Чичинов

Гипербола

Гипербола

Серезка Чеботарёв числился в школе среди твёрдых «хорошистов». Был он отчаянно рыж, крепок в плечах, молчалив и серьёзен. Весь в отца.

В тот день по математике изучали новую тему.

– Так, ребята, чертим две оси – ось абсцисс и ось ординат, – своим обычным, хорошо поставленным голосом вела урок математичка, Лидия Степановна – женщина, в общем-то, невредная и уравновешенная.

– Абсцисса – это горизонтальная прямая, её мы обозначим как x . Ордината – вертикальная, она обозначается в математике символом y . Пока всё понятно?

Все в ответ дружно промолчали. Учеников в деревенской школе было, что называется, кот наплакал. Например, в их восьмом «А» всего двенадцать человек. А чтобы провести две прямые линии – сами понимаете, тут ума много не надо.

Однако дальше началось посложнее.

– Теперь мы с вами начертим две кривые. Это гиперболы. Вот, смотрите, я на доске нарисую, а вы в своих тетрадках.

Лидия Степановна изобразила на доске две замысловатые, но красивые кривые линии.

– Видите? Гиперболы не прямые. Они вроде бы и стре-

мятся к осям икс и игрек, но, поскольку кривые, никогда с ними не соединятся.

Серёжка внимательно посмотрел на школьную доску, потом в свою тетрадку, взъерошил рыжий чуб и поднял руку.

– Лидия Степановна, можно?

– Да, Чеботарёв, слушаю.

– Помните, вы нам рассказывали о параллельных прямых?

– Да, конечно. И что?

– Ну, я просто запомнил, что они никогда не пересекаются. Вы мне ещё тогда «четвёрку» поставили.

– Да-да, Серёжа, помню.

– А тут что? Две оси – прямые линии, это понятно. А эти ваши две... как их...

– Гиперболы.

– Вот именно. Они ж не прямые, вы говорите?

– Да, это кривые линии.

– Ну, так выходит, они с этими прямыми-то рано или поздно состыкнутся!

– Нет, Серёжа, не состыкнутся, как ты говоришь, – улыбнулась учительница. – Дело как раз в том и заключается, что эти кривые бесконечно долго будут стремиться к соединению с осями, но так и не соединятся. В математике этот термин определяется как бесконечность. Помните, я вам рисовала такой знак – вроде положенной в горизонтальное положение «восьмёрки».

Серёжка нахмурил брови – ну, совсем, как его отец в

сложных ситуациях.

– Не, Лидия Степановна, это две параллельных не пересекаются – вы же нам рассказывали, я запомнил. А тут не две параллельных. Одна прямая, а другая-то кривая! И стремится. Значит, где-то они... состыкнутся.

Лидия Степановна начала нервничать: время идёт, надо ещё успеть задание на дом дать.

– Чеботарёв, ты чем слушал, когда я объясняла про бесконечность? Да, здесь налицо одна прямая линия, другая – кривая. Да, одна стремится к другой. Но они никогда не сойдутся в одной точке, пойми! Потому что, будут бесконечно соединяться, но так никогда и не соединятся. Это и есть бесконечность.

Серёжка насупился и промолчал.

Вечером он подошёл к отцу.

– Бать, что такое бесконечность?

Отец – такой же рыжий, крепкий и молчаливый – только что поужинал и чинил настенные часы, сидя за кухонным столом.

– Эт чего, вам в школе задали про неё, про бесконечность?

Серёжка опустил вихрастую голову.

– Да нет. Просто математичка... ну, Лидия Степановна...

В общем, я не понял про эту, как её... про гиперболу.

– Про чего? – отец встал со стула.

– Гиперболу. Кривая такая.

Серёжкин отец – и столяр, и плотник местного совхоза

и, вообще, на все руки мастер – очень хотел, чтобы его сын выучился на какого-нибудь инженера, ходил при галстукe и ещё, чтобы женился на городской.

– Что за гипербола такая?

Серёжка достал тетрадку:

– Вот.

Чеботарёв-старший внимательно взгляделся в нарисованную сыном схему.

– Ну? И что тут непонятного?

– Да говорю ж тебе: вот две прямые линии...

– Так, вижу – две прямые. Учился, помню. Одна вдоль, другая поперёк. Дальше что?

– А тут эта гипербола. Видишь?

– Загогулина эта, что ли? И эта – вторая, рядышком с ней?

– Ну. Две гиперболы.

– Что ну? Загогулины и загогулины. Что не так-то? Небось, в прошлый урок недослушал чего, а теперь Лидия Степановна виновата.

Серёжке стало обидно.

– Ничего я не недослушал! Говорю ж тебе: она сначала, в прошлом году, про две параллельные прямые рассказывала. Я за это «четвёрку» получил. А тут теперь эта... гипербола. Они ж должны где-то состыкнуться. Кривая с прямой.

Отец поскрёб затылок.

– Ага. Это две прямые. Так?

– Ну. Две оси – ось абсцисс и ординат.

Оба склонились над тетрадкой.

– А эта – кривая? – с некоторым сомнением спросил отец.

– Ну да, говорю ж тебе, она к бесконечности стремится. Есть в математике такой термин – бесконечность. Нам в седьмом классе про неё объясняли. Я ей одно – две параллельные никогда не пересекаются, а эти ведь всё равно рано или поздно пересекутся, они ж не прямые. А она...

Отец помолчал, подумал.

– Слушай, Серёга, может тут она тово... может сама путает чего?

Чеботарёв-старший закурил.

– Вот, смотри. Скажем, рубим мы с мужиками избу. Ну, там второй, третий, четвёртый ряд брёвен положили. Скоро вершить – к крыше подходим. Нам главное что – ровно положить брёвна. Тут попробуй эту вашу... как её...

– Гиперболу?

– Вот-вот, попробуй эту самую гиперболу сляпать – изба же развалится к... В общем, развалится.

Лицо у Серёжки покраснелось.

– Так и я о чём! У вас бревна – это те же прямые линии, они лежат параллельно. Значит, не пересекаются.

– Как это не пересекаются? – отец удивился. – А по углам? Где ты видел избу без углов? В прежние-то времена старики умели и «ласточкин хвост» делать при строительстве. И меня научили. Это такой особый вид – брёвна класть и «ла-

сточкиным хвостом» их соединять.

Серёжка улыбнулся.

– Бать, ну так то по углам. А представь, эти брёвна длинные-предлинные и тянутся себе вдаль и тянутся. Не пересекутся же, если они ровные?

Отец снова закурил.

– Не, Серёга, таких длинных брёвен не бывает.

– Это я понимаю, я так, для примера. Ну, мол, про то, что параллельные прямые не пересекаются.

Отец нахмурил лоб.

– Ну, если только для примера. Тогда да – не пересекаются. Это я тоже кумекаю. Так. И что дальше?

– Да говорю ж тебе – вот прямая ось, а вот кривая гиперболо: это ж не параллельные прямые? Не параллельные. Значит, должны где-нибудь соединиться. А она говорит, нет. Бесконечность, мол...

Отец встал, прошёлся по комнате, опять крепко потёр затылок, заглянул в тетрадь.

– Ладно, Серёга, давай-ка на боковую. Утро вечера мудренее.

На следующий день Чеботарёв-старший после работы зашёл домой к Лидии Степановне.

– Здравссьте.

– Здравствуйте, Егор Матвеевич, – приветливо улыбнулась учительница.

Она знала, что отец Сережки – человек непьющий, серьёз-

ный, в деревне его уважали.

– Что-нибудь случилось?

Чеботарёв снял кепку, помялся.

– Да как вам сказать. Тут вчера сын тетрадку мне показал, вы давеча, как я понимаю, новую тему изучали. Вот он, похоже, не совсем понял про эту вашу... гиперболу.

Лидия Степановна стёрла с губ улыбку.

– Да вы присаживайтесь, Егор Матвеевич.

Оба сели за стол.

– Да, вчера я рассказывала ребятам про гиперболу. Что Серёже не понятно?

Чеботарёв, кажется, уже пожалел, что зашёл к математичке. Но природная настырность взяла своё.

– Они, эти ваши гиперболы – кривые? Я правильно понял?

– Да, верно.

– Вот! Значит, каждая из них стремится к своей оси, приближается к ней с каждым сантиметром?

– Правильно, – Лидия Степановна начала немного волноваться.

– И что это значит? – уже увереннее продолжал Чеботарёв.

– Что?

– А это значит, что рано или поздно – ну, пусть где-то там, далеко-далеко, что аж глазу не видать, они сойдутся! Это ж не два ровных бревна, верно?

Лидия Степановна встала, подошла к окну. На улице сгу-

щались сумерки.

– Егор Матвеевич, а Серёжа говорил вам про бесконечность?

Плотник досадливо крикнул.

– А как же, говорил. Термин, мол, такой. В математике.

– Это не просто термин. Это...

И тут Лидия Степановна вдруг поняла, что у неё не хватает слов, чтобы объяснить этому взрослому, сильному, своему сообразительному и неглупому мужику тему урока.

– В общем, это такая величина, которая не поддаётся исчислению.

– Как это?– искренне удивился Чеботарёв. – А на что же тогда она, эта ваша математика? Ну, есть же тысячи, миллионы, что там дальше идёт?..

– Миллиард, триллион, квадриллион...– машинально отвечала учительница, глядя в окно.

– Вот! А ещё дальше?

– Дальше квинтиллион, секстиллион... Да поймите, не в этом дело! Насколько велики не были бы все эти числа, бесконечность – она... ну, не то чтобы больше всех их, даже вместе взятых. Она... в общем, она неизмерима. Потому и называется бесконечностью.

Чеботарёв помолчал с минуту, тоже глядя в тёмное уже окно, потом решительно встал.

– Ну, ладно. Неизмерима так неизмерима. Чего уж тут.

Неловко улыбнулся:

– Вы уж извините меня, если чего недопонимаю. У меня ж всего семь классов да коридор. Где уж нам гиперболы-то осилить.

Уже у порога он обернулся.

– А вы, Лидия Степановна, знаете, что такое «ласточкин хвост»?

– Простите, что?

– Ну, «ласточкин хвост» – это такой способ, чтоб брёвна между собой скреплять.

Математичка растерялась.

– Нет, не знаю. А к чему вы это?

Чеботарёв опять улыбнулся, только теперь уже широко, уверенно.

– А, да это я так, к слову. Не берите в голову. Если что, заходите – я покажу, как это делается. Без всякой бесконечности. До свидания!

Дома у него всё шло своим чередом.

– Свиньям дала?– спросил он жену.

– Дала,– ответила та, стоя у плиты. – Нюшка скоро пороситься будет.

Он кивнул:

– Ну, и ладно. Серёга-то где?

– Да где-то на дворе был.

Чеботарёв-старший вышел во двор. Сын возле сарая чинил велосипед. Увидев отца, вопросительно взглянул на него:

– Ты, бать, к математичке ходил, что ли?

Тот присел на корточки рядом.

– Ну, заходил.

– И чего она?

– А чего она? Ничего. Хороший, говорит, у вас сын растёт,

Егор Матвеевич. Твёрдый хорошист.

Он встал, сладко потянулся всем телом.

– Ты вот что, Серёга, давай-ка, в воскресенье на рыбаловку налаживайся. Сидор, конюх наш, говорит, на Фёдоровском пруду карась знатный пошёл, до килограмма. На красного червя. Надо будет прикорм сварить. Завтра у меня дельце одно есть, а в воскресенье порыбачим.

Он вернулся в дом.

– Завтра в райцентр поеду, – сказал жене, – может, купить что, ты скажи.

– А чего едешь-то?

– Так это... за комбикормом.

– Да ведь ещё два мешка в сарае.

Чеботарёв досадливо хмыкнул.

– Ну да, ты ещё дождей дождись. Поеду, пока ведро.

Утром он завёл свой старенький верный «Урал» и поехал в райцентр. Там была церковь. Заглушив мотоцикл, он, преодолевая робость, вошёл в храм. Шла служба. Пахло ладаном, певчие тянули тонко и протяжно.

Чеботарёв подошёл к церковной лавке, за которой стояла дородная женщина в тёмном платке.

– Здравствуйте. А когда служба заканчивается?

– Первая в полдевятого.

– Скажите, а я могу со священником поговорить после службы?

– С батюшкой? Да подходите, он примет. Он всех принимает.

Чеботарёв поехал на рынок, купил два мешка комбикорма, уложил в коляску «Урала», аккуратно прикрыл чехлом. Не спеша походил по знакомым узким улочкам райцентра, съел два мороженых. Чтобы скоротать время, зашёл в рыбацкий магазин, выбрал два приглянувшихся поплавка и десяток крючков.

В половине девятого подъехал к храму. Священник вышел из церкви последним, после прихожан. Лет ему было под сорок, небольшое, аккуратное брюшко, борода красиво пострижена. И добрые, ласковые глаза.

– Здравствуйте!– остановил его Чеботарёв.

– Здравствуйте,– кивнул в ответ батюшка.

Видя, что собеседник немного робеет, приветливо улыбнулся:

– У вас ко мне какой-то вопрос?

И тут Чеботарёву как-то сразу сделалось легко.

– Да, есть вопрос. Вы простите, не знаю вашего имени-отчества, не знаю, как обращаться к вам.

– Да просто батюшкой зовите,– опять улыбнулся священник.

– А, хорошо. Знаете... я, в общем, не про религию... ну, не про веру и не про Бога. У меня немного другое. Ничего?

– Ничего-ничего. Слушаю.

Тут Чеботарёв окончательно осмелел.

– Вот скажите... батюшка. Что такое, по-вашему, ну, по-церковному, бесконечность?

Священник пристально, теперь уже без улыбки, оглядел Чеботарёва.

– А зачем вам это? Извините, я что-то не припомню – вы не из моих прихожан?

Тот замялся.

– Нет, я в церковь не хожу. Некогда. Всё дела, заботы... Я тут, недалеко, в Кустово живу.

Батюшка опять слегка заметно улыбнулся.

– А бесконечность вам зачем?

Чеботарёв тоже разулыбался.

– Да, понимаете, сын это сейчас в школе проходит. Есть там такая – гипербола. Не совсем понятно.

Священник предложил присесть на лавочку возле храма.

– Это когда две оси и две кривые, которые никогда с ними не пересекаются?

Чеботарёв просиял:

– О, вы знаете? Ну, да, про них речь. Ну, согласитесь, так же не бывает! Если они стремятся друг к другу, значит и пересекутся рано или поздно. Так ведь?

Священник помолчал.

– Про бесконечность, конечно, тоже в школе вашему сыну рассказывали?

– А то! Понятие такое есть в математике.

Чеботарёв про себя удивился – священник, а, глянь, соображает.

Его собеседник о чём-то задумался, долго смотрел на стоящие рядом берёзки, на храм, на небо.

– Говорите, в Кустово живёте?

– Да. Семь километров отсюда.

– А работаете кем?

– Да я и столяр, и плотник. Много чего могу.

Священник опять тепло, по-доброму улыбнулся.

– Знаете, я сейчас буду говорить про другую бесконечность. Не про математическую. Вот смотрите. Человек рождается, живёт – кому сколько отпущено – а потом умирает. Так?

– Так.

– Дальше идём. Скажем, люди дом построили. Будет он стоять вечно?

Чеботарёву почему-то показалось, что он давно знаком со священником и даже в друзьях с ним, настолько тот был простым, открытым и понятным.

– Не-е, вечно не получится! Кирпич рано или поздно в труху превратится, брёвна сгниют – если, конечно, это не морёный дуб, он веками стоит. Ну, правда, и тот когда-то в негодность приходит.

– Вот, правильно. А скажите, как, по-вашему, хоть что-то на нашей матушке-Земле вечное есть?

Чеботарёв помолчал.

– Может, эти... египетские пирамиды?

Тут батюшка неожиданно рассмеялся – молодо, задорно, совсем не по чину.

– Так ведь и они, бедолаги, рушатся! Смотрели по телевизору? Их ведь теперь даже охраняют от туристов – наверное, чтобы не так быстро рушились.

Потом опять посерьёзнул лицом.

– Вас как зовут?

– Егор Матвеевич.

– Вот, смотрите, Егор Матвеевич, только что мы с вами пришли к выводу, что ничего вечного на Земле нет. Всё конечно. Всё рождается и рано или поздно умирает. Но при этом такое понятие, как вечность, люди используют уже много веков. Почему? Что, вообще, это такое – вечность? Можете ответить?

Чеботарёв насупился, поковырял носком ботинка песок под ногами. Потом прямо посмотрел в глаза священнику.

– Это вы про что? Про ту самую бесконечность? Опять про гиперболу?

– Нет-нет, поверьте, я сейчас не о математике! Просто... как вам сказать... Нам, смертным, трудно понять некоторые вещи. Ко мне в храм приходят разные люди. Кто-то появляется здесь изредка, ставит свечи «на всякий случай», а ча-

ще – когда беда в дом приходит. Кто-то и все посты соблюдает, и молитвы наизусть знает, и все церковные праздники помнит. А вот о вечности мы почему-то редко задумываемся. Наверное, быт, повседневные заботы-хлопоты мешают. Некогда задуматься...

Священник замолчал. На ветках берёзы над ними чирикали воробьи. По соседней улице, натужно ревя двигателем на подъём, проехал грузовик.

– Послушайте, Егор Матвеевич, – неожиданно повернулся он к Чеботарёву, – а вы когда-нибудь на звёзды ночью смотрели?

Тот слегка удивился:

– Ну, а кто ж на них не смотрел. Звёзды и звёзды. Мерцают, светятся. Падают иногда.

– А вы думали о том, какое до них расстояние, что они собой представляют, из чего состоят, есть ли на них жизнь? И, вообще, что такое наша Вселенная?

Кажется, батюшка немного разволновался. Он встал и начал ходить туда-сюда около лавочки.

– Вы телевизор смотрите? Вот, учёные пришли к выводу, что, кроме нашей Вселенной, есть ещё тысячи подобных ей. Представляете – тысячи, а может и десятки, сотни тысяч таких, как наша!

Чеботарёв тоже встал.

– И что?

Священник совсем по-детски взмахнул руками:

– Как что? Мы с вами отсюда, с Земли, смотрим на звёзды, и нам кажется, что они очень далеко от нас, а ведь на самом деле там, за ними, есть и другие звёзды, которые нам не видны, есть другие вселенные, которые нам не ведомы! И нет им конца и края. Понимаете – нет! Вот это, наверное, и есть вечность...

Чеботарёв поднялся.

– Вечность... А я вот комбикорма два мешка купил сегодня. Хотя дома есть ещё. Ничего – впрок пойдёт. Свиной-то кормить надо. Сына растить. Выучить его.

Священник вдруг опять рассмеялся – весело, задорно, молодого.

– Егор Матвеевич, а ведь помрут ваши свиньи! И мы все помрём. А вечность – представьте – останется. Понимаете, у неё, в отличие от всего нашего, земного, нет начала и нет конца. Она всегда была и будет. Как Бог. Он был всегда и будет всегда. Многие люди очеловечивают Его, пытаются представить в своём воображении – как Он выглядит, как говорит, как ведёт себя в той или иной ситуации. Отсюда и много заблуждений.

Чеботарёв пристально посмотрел в глаза священнику.

– А вы знаете, как Он выглядит, Бог-то?

Батюшка тихонько вздохнул.

– Никто не знает. Не дано нам, смертным. Наверное, это правильно. Так и надо. Там, на Высшем Суде, познакомимся. Лишь бы одесную с Ним оказаться...

Вернувшись домой, Чеботарёв занёс комбикорм в сарай, спросил у Серёжки, накопал ли он червей для рыбалки, потом все вместе поужинали.

Среди ночи жена спохватилась – нет мужа рядом. Вышла из дому. Он сидел на крыльце, тихий, молчаливый.

– Ты чего, Егор? Нездоровится?

Тот встал, обнял её за плечи.

– Не, мать, ничего, всё нормально. Ступай, спи, я сейчас.

Жена ушла в дом. Оставшись один, Егор долгим, задумчивым взглядом обвёл весь звёздный небосвод, потом протяжно вздохнул.

– Вот так, значит. Ну-ну...

Ему вспомнилась церковь, глубокий внутренний покой, царивший в храме, чистые, трогавшие душу звуки хора. Припомнил он и молодые, добрые глаза батюшки. Почему-то захотелось опять встретиться с ним, без суеты, не спеша поговорить вдвоём о чем-то большом, светлом, несуетном.

И Егор неожиданно для самого себя улыбнулся. Какой-то доброй, открытой, почти детской улыбкой.

2022 г.

Телеграмма

Воскресенье. Главпочтамт. Скоро 23 февраля. Телетайпы то и дело отстукивают радостные «поздравляю» и «долгих лет». Среди прочих в очереди к заветному окошку томится седенькая старушка – сухонькая, малоприметная. Она не то

чтобы спешит, скорее, волнуется, отчего ведёт себя немножко суетливо. Старушка в нетерпении перебирает ногами в аккуратных суконных ботиках, тянет тонкую шею, зачем-то пытается заглянуть через плечи впереди стоящих. Наконец, приёмщица телеграмм – совсем еще девчонка, но уже гордая своим превосходством над очередью – строго спрашивает следующего.

Старушка подымается на цыпочки:

– Телеграммку бы мне...

Юная королева берёт бланк и шевелит губками, вчитываясь в неровные строчки. Текст незамысловат: старушка поздравляет с Днём Советской Армии какого-то волгоградского Сеню. Пока подсчитываются слова, посетительница нервничает.

– Мне бы, милая, с открыточкой послать. Вот с этой вот, – тычет пальцем в стекло, – с гвоздичками.

Приемщица снисходительно кивает:

– Все понятно, бабушка, на поздравительном бланке. С вас рубль-тридцать.

Старческие руки суетливо расстегивают маленький потёртый гаманок, тщательно отсчитывают мелочь.

– Следующий...

Старушка семенит к выходу, потом останавливается, шепчет что-то про себя – и возвращается к окошку.

– Прости, доченька, старую, спросить хочу. С гвоздичками будет?

Удивительное дело – загруженная работой королева ничуть не раздражается, не кричит. Напротив, она даже успевает слегка улыбнуться:

– С гвоздичками, бабушка, с гвоздичками.

Бабулька тоже улыбается всем своим маленьким сухоньким лицом и неожиданно признается:

– Сеню поздравляю, Семена Гаврилыча. Воевали вместе. Лётчиком он был.

И все с той же забытой на губах улыбкой направляется к выходу.

И неожиданно сбивается на миг напряжённый почтово-телеграфный ритм, смолкают телефоны, светлеют, разглаживаются от забот лица людей. А она, как-то забывшись, задумавшись о своём, уже и не семенит, не шаркает по-стариковски ботами, а шагает легко, неслышно. И, кажется, на ней не старенькое, изрядно поношенное пальтишко, не тёмный платок – а строгая солдатская гимнастерка, плотно облегающая юбочка, ярко

начищенные сапожки по ноге.

Преображаются и глаза: минуту назад выцветшие, слезящиеся, они делаются ярче, распахиваются широко, живут на изборождённом временем лице – живут своей, особенной, неповторимой жизнью.

И с какой-то необыкновенной ясностью понимаешь вдруг: неведомый нам Семён Гаврилович, может, и женат, и внуков нянчит давно, но восточку эту он ждет, очень рассчиты-

вает на неё. Потому что, с телеграммой на пути её следования произойдет удивительнейшая метаморфоза: отправит её немощная седая старуха – а поздравление человек получит от нежной, молодой, способной на самые сильные чувства, а потому очень красивой женщины.

Это телеграмма из Молодости...

1986 г.

В городе

Знакомо ли вам, как причитают русские женщины? Это ни на что не похоже, словами это трудно передать. Словно какой-то дикий зверь попадает в страшную беду и знает, что уже не вырваться, и ревёт в безысходном неодолимом ужасе и тоске. Ревёт утробно, обреченно, истово.

...Я не поспел к собственно происшествию, опоздав, видимо, на какую-то минуту. Да и не случилось ничего страшного, всё обошлось. Но для женщины, матери было достаточно одного того, что беда была рядом, с её ребенком, могла поразить его. И тут же вступил в силу извечный и, наверное, самый сильный из человеческих инстинктов – инстинкт материнства.

Причитала молодая ещё женщина с заглубившей от многотрудных работ фигурой, с лицом обыкновенным, простоватым, но не лишённым привлекательности. Причитала, как по покойнику, надломлено, в голос.

– А-ай!.. А-ай!.. Да что ж это... Да как же... Ай, батюш-

ки!..

Рядом с нею стоял белобрысый, ладненький, но слегка замураванный мальчонка лет четырёх-пяти. Повинно склонённая вихрастая голова, вздернутые острые плечи выдавали в нем причину завываний матери.

– Ай, Господи...

И тут же:

– Ох, ирод проклятый!.. Ты ж меня в гроб вгонишь – ещё чуть, и задавило б тебя, проклятущего!

Мальчонка весь сжался, не шелохнётся. Видать, проняло его, тоже испугался.

Мать, между тем, постепенно приходит в себя, от неё уже можно услышать, кроме причитаний, нечто похожее на мораль.

– Это ж тебе не в деревне – гляди глазами-то, куда идёшь!..

И, не выдержав, – опять плачущим, взывающим к состраданию голосом:

– Ай, Господи!.. Да как же... У, сволочь такой!.. На что тебя рожала...

Ей надо идти – она не дома, домой еще предстоит добираться. В руках сумки, полные городских гостинцев. Но идти, видно, сейчас нет сил. Она делает шаг-другой и снова останавливается. Широко расставив ноги, берётся за сердце, дышит трудно, поводит по сторонам беззащитным растерянным взглядом. Ей надо изгнать из себя пережитый только что ужас. И самый простой, доступный для неё способ – вы-

говорить его, вылить в словах. Уж в деревне-то, поди, давно б собрались вокруг неё бабы да поохали вместе, попричитали – глядишь, и полегчало бы. А тут вроде и люди кругом, да всё идут как-то мимо, торопясь...

Нам, постоянно живущим в городе, порой бывает трудно проникнуться переживаниями сельчанина. Мы совсем по-другому, нежели он, относимся к подобным происшествиям в своей, а тем паче в чужой жизни. Не зная иногда имени-фамилии соседа по лестничной площадке, мы взираем на беды и радости незнакомых нам людей как бы из окна быстро едущего поезда – увидел, отметил про себя какие-то интересные детали, может быть, успел удивиться чему-то – и дальше, по своим неотложным делам.

У сельчан же в их неспешном размеренном бытие, где каждый знает жизнь каждого, другие скорости, другие измерения. Для них кажется естественным, чуть ли не обязательным принять участие в посторонней, но не чужой, не чуждой беде. Потому и относятся они к горожанам с некоторым недоверием, сомнением, что ли: мы ж спешим, мчимся по жизни, она лишь на короткий миг мелькает в вагонном окне – а они идут по земле, подмечая каждую травинку, улавливая выражение глаз.

Ах, как хочется иногда выпрыгнуть из вагона...

Женщина никак не успокоится. Однако уже не страх владеет ею – он понемногу отпускает. Гнетет её, похоже, неосознанная обида на людей, на их зачерствелость, нежелание и

неумение посочувствовать, хотя бы на минуту остановиться, выслушать. Ведь только что едва не задавило её сына! Ещё чуть – и не стало б на свете неужённого белобрысого человека...

Наконец, какая-то важная сухая старуха замедляет шаг и бросает строго, нравоучительно:

– Смотреть за ребёнком надо.

И тут – о чудесное превращение! – как подменили человека. Куда и подевалась растерянная, придавленная не случившимся горем мать.

– А ты за своими смотри, моих не трожь! У вас тут гоняют почему зря, людей ни за что давят...

И ещё, и ещё что-то злое, обидное, совсем уже неуместное понеслось в важную старухину спину.

И улыбнулся я тогда и понял: это не нашедшие ответа и понимания жалобы, причитания нашли свой выход в такой вот форме. Не умеющие милосердствовать да получают свою долю зла и несправедливости.

...Она несёт плотно набитые сумки одной рукой. Это и неудобно, и тяжело. Но в другой ее руке крепко сжата маленькая ладошка «проклятушего ирода». Женщина шагает прочно, размашисто. Временами поворачивается на ходу к белобрысой, скачущей рядом головёнке и что-то строго, но уже не зло выговаривает. Она спешит домой – рассказать, поделиться. Там поймут. То-то будет пересудов...

1986 г.

Ваня

Случилось мне как-то две недели проваляться в отделении травматологии. Вылеживаюсь после операции. В перерывах между перевязками и уколами перечитал любимых авторов, кроссворды надоели, в шахматы я не любитель, от винца Док – мой давний приятель, человек, прооперировавший меня – порекомендовал пока воздержаться. Скука, словом. И тут поступает в отделение новый пациент.

Поступил он в «травму» что-то около полуночи. Слышу за дверью своей палаты привычные звуки – «скорая» привезла очередного страдальца (я к Доку в больницу частенько просто так, в гости, захаживал во время его дежурств, посему давно ко всему привычен и всё мне тут понятно). Привезли человека с ДТП – машиной сбило. Утром Док манит меня в курилку.

– Хочешь хохму?

А глаза у самого заранее смеются, словно вот-вот расскажет свежий анекдотец.

– Ты его видел? – спрашивает.

– Кого?

– Ну, мужика, которого ночью с ДТП привезли.

– Нет пока. А что? Живой хоть?

– Ладно, увидишь ещё. Слушай. Его с окружной трассы привезли, московская «девятка» сшибла. Ребята со «скорой» говорят, бампер у неё ремонту не подлежит, лобовое

стекло всмятку, фара разбита, капот и крыло помяты... В общем, ты понял, да? Принимаю этого чудика, он то ли в шоке, то ли пьяный – разило-то от него изрядно. Как положено, всего «просвечиваем»... Ни-че-го! Всё на месте, всё цело! Ну, парочка ушибов, сам понимаешь, не в счёт. А «девятке» вон как досталось. Как тебе это?

После утренних процедур с нетерпением ищу новенького. Он, как ни в чем не бывало, вышагивает по коридору в нелепом, не по росту коротком больничном халате и чему-то мирно-задумчиво так улыбается. Мужичина здоровенный, за центнер, но весь какой-то рыхлый. Плечи опущены, толстые руки вяло висят вдоль бесформенного тулова, большая, скверно постриженная голова словно приклеена к бычьей шее. Ходит косолапо, тапочками по полу шаркает. Морда круглая, нос картошкой, губы «на развес». Одно слово – Ваня. Выяснилось: так его и зовут. А вот глаза...

Помните шукшинского Борю, дурачка? – там сюжет тоже в больнице развивается. Так вот, этот мужичина, изрядно помявший своей тушей московскую машину, чем-то напомнил мне того шукшинского паренька. Правда, Боря был совсем идиот – слюнявый, добрый ко всему существу. А Ваня... Прости, Господи, чуть не написал «не совсем идиот».

Нет, конечно, он не был «больным на голову». Простодушен до тупоумия? Да. Толстокож, неуклюж, абсолютно не образован? Да. Но – не дурак. Работает скотником в соседнем совхозе. В город приезжал проведать свояка. Конечно,

выпили. Пошел домой. По пути «догонялся» пивом. Дальше не помнит...

Так вот, я о Ваниных глазах. Если вы не в самом дурном расположении духа и потому не обращаете внимания на радостно-бессмысленную наивность этих самых глаз, то, возможно, рассмотрите в них ещё нечто, что может поразить вас.

Детская чистота. Полнейшее отсутствие дурного. Готовность сделать для вас что-то доброе. После всех наших привычно-осмысленных, умных, правильных взглядов – честное слово, что-то почти неземное виделось мне в этих глазах. Я вдруг поймал себя на странном: мне хотелось подольше, почаще в них смотреть.

И вспомнилось давнее. Как-то пошли мы с дружкой моим закадычным, с Генкой Старовойтовым, за кедровыми шишками. В Сибири было дело, за Новосибирском, откуда я родом. Набили мешок шишек, домой возвращаемся. А кедрач не близко, километров семь. Ведём велик по очереди, мешок – поперек рамы. День знойный, безветренный, парит от ближайшего болота. Пить хочется. Тропка среди густящей травы едва видна. И тут что-то словно дёрнуло меня: кругом нетронутая людьми девственная благодать, а вот зацепился вострый пацанячий взгляд за какую-то малость, коя выбивалась из общей картины мироздания.

Остановился. В траве рукой пошарил. Глядь – что за чудо? Ковшик! Ручка деревянная, ладно оструганная, а к ней ка-

кими-то прочными – знать, болотными, долго не гниющими – травинками конусок прилажен из бересты. В общем, как есть ковшик. К чему бы? – думаю. Еще пошарил – родничок рядышком, в траве!

Ох и вкусна была та водица, люди добрые... Долго мы с Генкой оторваться не могли от того источника. Как теперь, через много лет, я – от глаз этого странного пациента травматологического отделения.

И ещё – Ванина улыбка. И несмелая, и виноватая – словно извиняется человек за то, что он вот такой, почти дурачок, и этим приносит окружающим его людям какие-то неудобства.

В больнице Ване очень понравилось.

– А чё, кормят хорошо, тепло. И работать не надо.

Как объяснил мне Док, Ване предстояло пролежать здесь десять дней. Так положено. Потому как после сотрясения мозга человек должен лежать здесь десять дней. Вдумайтесь: после сотрясения, которое должно было быть, но которого не было!

Тётки из столовой быстро нашли применение быющему фонтаном Ваниному здоровью (мы-то, остальные, в основном кто на костылях, кто в гипсе по самое «здравствуйте»): он таскал для нас в вёдрах еду из соседнего корпуса. Делал это с удовольствием и всё с той отсутствующей полуулыбкой на толстых губах.

Как-то он остановил меня в коридоре.

– Я там у вас книжки видел. Можно мне почитать одну?

От кого-то из прежних постояльцев палаты (вернее сказать, «полежалыцев») осталась брошюрка с расхожим «читивом» – очередным сляпанным кем-то «задней левой ногой» якобы детективом. Вот её-то и начал мусолить Ваня. Читал он почему-то исключительно в коридоре, стоя, прислоняясь к широкому подоконнику. Было понятно, что для него всё окружающее исчезало, улетучивалось в иное измерение, едва он начинал читать. Круглая лохматая голова его медленно-медленно двигалась вслед за прочитанными буквами, некоторое время оставалась неподвижной в конце строки, потом поворачивалась влево – и всё сначала.

Как-то раз мне подумалось, что, как только Ваня дочитает книжку до конца, он без ущерба для своего интеллекта вполне сможет начать её сызнава и будет внимать примитивному сюжету с тем же напряжением и вниманием.

А может, я и ошибаюсь...

И вдруг однажды, накануне выписки, меня осенило: а ведь это они, такие вот Вани, месяцами не снимают свои провонявшие ватники, безропотно, порой даже без элементарной зарплаты таскают на себе навоз, пасут тощих, грязных коровёнок, ухаживают за оставшимся поголовьем каких-то там свиноматок и свиноуток, годами не знают лучшего развлечения, чем нажраться самогону да побить друг другу морды... То есть, в конечном итоге, выходит, кормят нас – умных, грамотных, интеллигентных и не очень – в общем, городских.

Не знаю, наверное, мне следовало бы пожалеть, что ли,

этих обезличенных, забытых и забытых всеми вань. А вот не получилось как-то. Не пожалелось. И даже привычного брезгливо-равнодушного презрения ко всем нашим безмерно лукавым правительствам и бесконечно далеким от народа «народоизбранным» я почему-то не испытал. К слову, для них – для тех, кто «там, наверху» – все мы, по большому счёту, наверное, те же вани.

Таким и остался в моей памяти этот странный пациент: большим, несуразным, трогательно добрым, с глазами, полными нетронутой цивилизацией чистоты. Как тот родничок в тайге.

1987 г.

Уточка

Шестиклассник Женя Поляков шагал из школы домой. Шагал в приподнятом настроении: на улице весна, денёк солнечный, весёлый, скоро каникулы.

Путь его пролегал мимо частных гаражей. Ворота одного из них были открыты, рядом топтался пожилой небритый инвалид в засаленном ватнике. Вместо одной ноги у него была приделана к культе толстая, грубо сработанная деревяшка. Перед стариком стояла чурка, подле неё лежала живая утка со связанными лапками.

Возле птицы на корточках сидели две девчушки годика по три и, не дыша, во все глаза смотрели на неё. Маленькие горожанки, они, возможно, впервые видели уточку не на кар-

тинке или в мультике, а вживую. Птица время от времени пыталась встать, но лишь беспомощно загребала пыль с асфальта своими серыми крыльями.

Инвалид сосредоточенно и неторопливо точил топор. Руки у него были большие, сильные, покрытые мелкими рыжими волосами.

Женя понял, что должно вот-вот произойти. Он представил на месте этих девчушек свою младшую сестренку, и с ним вдруг случилась истерика.

– Что вы делаете?! – закричал он в лицо небритому инвалиду. – Это же дети! Они не понимают!..

Он напоминал в эту минуту взъерошенную воробиху, ставшую на пути страшного кота, который подкрадывается к её выпавшему из гнезда воробьёнку.

Старик с глухим стуком воткнул топор в пень, встал поудобней на свою деревяшку и удивлённо посмотрел на Женю маленькими выцветшими глазками.

– Ты чего, хлопчик? – равнодушно спросил он. – Ты это... давай, иди, куда шёл.

Он неуклюже повернулся и поднял с асфальта уточку...

Утирая на ходу злые беспомощные слезы, Женя побежал домой, подальше от страшного инвалида и места предстоящей казни, которая через минуту должна была свершиться на глазах двух несмышлёных девчушек.

Родителей дома ещё не было. Женя упал на диван лицом вниз и долго плакал навзрыд, вздрагивая своими острыми

мальчишескими лопатками.

Спал он в ту ночь плохо, часто вскрикивал, стонал. Ему снилась толстая, грубо отёсанная деревянная нога. Она с глухим страшным звуком приближалась к нему, а он, связанный, лежал на асфальте...

Утром мать померила ему температуру – тридцать семь и пять. Она дала Жене тёплого молока с мёдом. В школу он в тот день не пошёл.

1987 г.

Красота

Ненароком встретить где-нибудь на улице, в толпе, красивую женщину так же приятно, как если бы неожиданно получить хорошее известие. Однако, замечали ли вы, женская красота бывает привлекательна по-разному. Случается, её носят, словно очень дорогое, ослепительно яркое украшение, бережно и с достоинством. Такая драгоценность постоянно шлифуется вниманием к себе, делаясь со временем всё более совершенной, недостижимой и, может стать, даже обременительной для женщины. Есть иная красота – лёгкая, изящная, чуть капризная. Она сродни кокетливой модной шляпке. Сложнее бывает увидеть неброскую, но всегда искреннюю, наполненную душевной теплотой и обаянием внутреннюю красоту – её надо уметь разглядеть за непритязательными, порою даже заурядными чертами.

И всё же, на мой взгляд, самой притягательной, поистине

удивительной силой обладает другой тип женской красоты. Встречается он наиболее редко, однако как бы ни была такая встреча мимолетна, она всегда запоминается надолго, оставляет в душе ни с чем несравнимую гамму чувств.

...В тот день, не по-весеннему холодный и ветреный, я добирался автобусом домой, в центр города. «Тройка» шла полупустой. Пассажиры с ленивой расслабленностью смотрели в окна, на остановках разглядывали входящих. Кумушки по обыкновению судачили. Лица мужчин с точностью передавали своим выражениям равнодушно-скучный, привычный до мелочей уличный пейзаж.

На одной из остановок вошли мама с дочкой (так, во всяком случае, могло показаться со стороны, хотя явного сходства между ними я, признаться, не обнаружил). Они прошли в середину салона, садиться не стали, а слегка касаясь друг друга плечами, остались стоять. Погруженный в свои заботы, я не сразу понял, что привлекло моё внимание к этой паре. Помню только, как в меня вселилось вдруг легкое приятное волнение, какое бывает иногда в предчувствии редкой находки после долгих бесплодных поисков.

Рассмотрев маму с дочкой хорошенько, я понял, чем было вызвано это моё нечаянное волнение: девочка была удивительно красива.

Лет пятнадцати от роду, она уже вступила в ту прекрасную пору, когда в подростке сперва робко, а затем всё с большей властью заявляют о себе женские начала. Когда углова-

тость сменяется округлостью движений, форм, и на смену детской непосредственности приходит осознанная необходимость «держаться» на людях. Так из невзрачного, неуклюжего кокона появляется вдруг на свет изящная легкокрылая бабочка, заставляя окружающих замечать её, любоваться ею.

Но в том-то и заключалось моё везение, что превращение это я застал на полпути! Самое большое достоинство едва начавшей зарождаться красоты заключалось в том, что сама красавица не догадывалась или не думала о ней. Строгое изящество, утончённость, какая-то неуловимая грация – и вместе с тем не наигранная естественность, сдержанное достоинство, отсутствие малейшего намёка на самолюбование – вот каким необыкновенным букетом одарил меня в тот день его могущество Случай.

Лицо девочки было правильных очертаний, слегка заострённое книзу. Светлая, не знавшая косметики кожа хорошо оттеняла спокойного рисунка губы. Тёмные брови и такие же ресницы.

Но прежде всего виделись, конечно, глаза. Были они какого-то густого, глубинного серого цвета, точно подсвеченные изнутри. Таким выдается иногда предвечернее августовское небо: его яркие дневные краски уже начали остывать, но еще ласкают взор ровными сильными мазками, от близких сумерек становясь лишь мягче, проникновеннее.

Эти глаза смотрели на мир из своего задумчивого августа

спокойно и... не показалось ли мне? – немного грустно. Они не замечали ни бесконечной пыли на дороге, ни обветшалых разномастных домиков, что неровной цепочкой бежали за автобусными окнами. Не видели они и нас, нечаянных свидетелей совершенства.

...Около горисполкома они вышли. Навстречу им бежал, торопясь к автобусу, высокий парень в модной короткой куртке. Лет двадцати шести, рябоватый, с большими мосластыми руками, он с усердием загребал широкими ладонями воздух, пучил глаза, дышал шумно и вообще спешил, напоминая при этом нескладный старинный паровоз, выбившийся из графика. Когда парень поравнялся с девочкой и только на один короткий миг машинально взглянул в её лицо, с ним что-то случилось. Точно кто-то невидимый возник у него на пути и неожиданно с силой толкнул его в грудь. Парень странно дёрнулся, запнулся и чуть не промахнулся, влетая в открытую дверь.

Автобус тронулся. На немудрёной физиономии нового пассажира было написано наивное удивление, даже некая растерянность – он, должно быть, так и не успел понять, что с ним произошло, и долго ещё оглядывался на остановку.

А за окнами уже промелькнули массивные обшарпанные ворота кондитерского цеха, недостижимой высоты кораблём строго проплыл Вознесенский собор, и автобус поравнялся с ларьком, где продавали на вынос пиво. Народу было много. Я успел заметить, как некто в рыжей вислоухой шапке, нетвер-

до перебирая ногами, совал знакомому в очередь грязный помятый бидончик и деньги. Его отталкивали.

Снова вокруг было пыльно и суетно...

1984 г.

Дедовский способ

Семёныч еще не стар, крепок телом, по-крестьянски сметлив и рукоделен. У него небольшое пузцо – невероятно твёрдое, как чугунная гиря, крепкие, чуть покатые плечи, нос картошкой. Ладони у мужика неохватные, что твои полукилограммовые караси-оковалки; губы толстые, добрые, узко посаженные глаза играют лукавинкой. Ещё у него есть привычка временами складывать губы в смешную трубочку, как если бы захотелось ему свистнуть. От этого простое русское лицо Семеныча становится обезоруживающе милым.

Прозвище у него в округе – Железякин. Здесь нет и доли насмешки, скорее уважение. Он всю жизнь проработал с металлом – токарем на заводе – и до того освоил свое ремесло, что любая железка в его сильных пальцах словно становилась живой: он делал с ней, что пожелается. Вернее, что требует дело.

Живёт Семеныч в «бабьем царстве»: с толстой, молчаливой, неприметной в своих домашних хлопотах женой, взрослой дочерью-разведенкой и внучкой Санькой – девочкой застенчивой, до болезненного тоненькой и хрупкой. В семье полный лад. Дочь работает учительницей в школе, уже оста-

вила, кажется, надежду опять выйти замуж – а может, и устраивает её это положение. Жена-хохлушка тихой толстой тенью снует по дому, незаметно сея повсюду уют и добро. Санька не в мать (у той характер жесткий, мужской), она скорее в бабушку: тиха, неприметна, беззащитна, добра ко всему существу на земле.

Есть у Железякина одна особенная черта в характере: удивительно наивен он в тех вещах, кои ему не ведомы. Как отбить коосу, как скрепить бревна сруба «ласточкиным гнездом» и ещё много чего – здесь он сам кого хочешь научит. А спроси его, к примеру, отчего в поезде стоп-кран красного цвета, а в самолёте – синего, начнет натушно ворочать могучими морщинами на невысоком лбу, складывать в смешную трубочку толстые губы, потом печально, по-коровьи, вздохнет, улыбнётся виновато и покачает большой, на удивление не лысеющей и не седеющей головой: нет, мол, не знаю.

...Тщедушного вида вислоухого щенка принес в дом к Железякину его давний приятель и собутыльник, в прошлом тоже токарь, Гена Картавый. Лет двенадцать жил во дворе у Семёныча ладный рыжий кобелек Каштан. Службу свою исполнял справно, звонко возвещал о приходе гостей, но как-то раз вырвался на волю (порвался истлевший от ветхости ошейник) и был сбит машиной. Без привычного «звонка» во дворе стало пусто, неуютно. Да и беспокойно – а ну как чужие не с добром пожалуют. Накануне был у Железякина разговор об этом с Картавым, вот приятель и притащил от-

куда-то «сторожа».

– Ты, Семёныч, не гляди, что невзрачный кобель-то. У его, знаешь, мать какая злая!

Был исход зимы, однако морозы всё не отпускали. Приятели сидели в тёплой кухне. Неуклюжий, в рыжих пятнах, щенок радостно лизал руки двенадцатилетней Саньке. Гена с тревогой поглядывал на сомневающегося Семёныча – примет ли подарок. Он ждал законного магарыча. Санькина мать была на работе, жена хозяина лишь мельком глянула на собачонку, тронула губы доброй улыбкой и неслышно удалилась по своим бесконечным делам: мужу решать.

Сомнениям хозяина положила конец внучкина радость: уж так славно засияли Санькины, обычно с какой-то грустной задумчивостью, синие глаза.

Мужики выпили по этому поводу четвертинку. Картавый ждал большего, но не дождался – вернулась с работы строгая дочь Семеныча. Гена разочарованно крикнул и ушёл.

Так и вышло в доме прибавление.

Назвали вислоухого Трезоркой. Железякин подлатал конуру, обшил её изнутри войлоком, Санька выпросила у бабушки для подстилки старенький домотканый коврик, на щенка надели новый ошейник и посадили на цепь.

Трезорка на цепи лаял, по-детски плакал, визжал с жалостным подвыванием, пока его не забрали в дом. На следующую ночь все повторилось.

– Футы-нуты, – в сердцах сказал Семеныч, – сторож на-

зывается.

– Дедушка, он же еще маленький, – возразила Санька. – Он за мамкой скучает. А тут тебе и холодно, и темно на дворе. Страшно же!

Решили погодить с водворением щенка в будку, тепла подождать. Пока же оставили Трезорку в доме. На радость Саньке. Девочка проводила с ним всё свободное время. И палочку учила приносить, и пеленала как куклу, и даже тайком от старших целовала в черный, влажный, ещё пахнущий детством нос.

Посаженный через две недели на цепь – последние морозы отпустили, пришла весна, Трезорка теперь уже выл, не переставая. Просился в дом.

– Ничего, обвыкнет, – строго отвечал Железякин на немые просьбы Санькиных синих глаз и сурово складывал губы. – На то собака. Это кошки в доме живут, а кобелю место на дворе.

Но Трезорке, видно, это было невдомёк, и он каждую ночь донимал семью Семёныча и всю округу истошным детским плачем.

– Да прибей ты его, малохольного! – крикнул как-то через забор Алешка Панков, сосед – мужик отчаянно злой, отсидевший пять лет за драку. – А не то я прибью. Спать, сволочь, не дает.

За ужином Семеныч буркнул:

– Завтра снесу его Картавому обратно. Тоже мне, сто-

рож...

Гена Картавый, однако, пожаловал на следующий день сам – как чуял. Внимательно осмотрел щенка со всех сторон, зачем-то помял ему брюхо, заглянул в уши.

– Это бывает, – со знанием дела сказал он. – Девчонка-то твоя, Санька, занянькала его, знать. Вот и воет. А так он вроде ничего, справный кобель. У его, знаешь, мать-то какая злющая! Ты вот поди, у Гришки Сухорукова спроси, это от его суки кобель.

– Так, это... А когда ж он, значить, выть уgomонится? Перед соседями совестно.

Картавый оживился.

– Я тебя, Семеныч, научу. Верный способ, дедовский. Злой кобель будет, вот увидишь. Сам не подойдешь! Ты тово... пока дочки-то нету... Спроси у своей бабки «калявочку» – голову что-то ломит, к дождю, знать.

После «калявочки» пошли «воспитывать» собаку. Командовал Гена.

– У твоей бабки корыто цинковое есть?

– Ну.

– Тащи. Только это... ей не сказывай.

Хозяин принес корыто.

– Так. Давай его, паскуду, сюда. Щас он у нас...

Кобелька поместили внутрь «испытательной камеры».

– Неси дрын, какой почижелше, – приказал Картавый.

Семеныч вынес из сарая старый черенок от лопаты.

– Пойдет?

– Давай. Колоти сверху.

Семёныч начал колотить. Добротню, по-крестьянски, как он делал всё и всегда.

«Сторож», было, взвизгнул со страху, потом напрочь замолчал, и по двору слышны были только мерные удары черенком по оцинкованному корыту.

Минут через десять вошедший в роль Картавый скомандовал:

– Всё, хорош! Во, щас увидишь.

Семеныч утёр со лба пот. Выпростили из-под корыта кобелька. Он, изрядно уделавшись со страху, дрожал крупной дрожью. Мельком глянув на хозяина, «сторож» спешно юркнул в будку.

...С тех пор Трезорка выть перестал. И даже не лает. Большую часть времени пёс проводит в конуре, выбирается наружу только для того, чтобы быстро, с оглядкой, похлебать из миски да задрать лапу под яблонькой. Чужих боится, а когда гремит гром, забивается в дальний угол конуры и тихонько поскуливает.

– Хм-х... – прячет за густые брови глаза Железякин, проходя мимо будки. – Дедовский способ...

Живёт Трезорка у Семёныча третий год. Повзрослевшая Санька порой чешет ему за ушами – её он не боится. Домовитый хозяин не раз уже подумывал, как бы завести настоящего сторожа во дворе. Ему даже предлагали как-то кобеля

– помесь дворняги с овчаркой. Да он почему-то отказался.

Гена Картавый по-прежнему захаживает к Семёнычу в гости. Махнув по стопочке, они разговаривают «за жизнь». Порой, глянув на собачью конуру, Картавый со знанием дела качает головой:

– Это бывает. Природа – она ведь по-своему всё понимает. Да... А мать у его ох и злющая!

Семёныч складывает толстые губы в трубочку, морщит лоб и задумчиво молчит в ответ.

1987 г.

Казус

В сельском клубе, в далёкой сибирской глухомани, случился казус. Виной всему стал Лёша Черепанников.

Лет ему за пятьдесят, росточка невысокого, но мужик он «прогонистый», жилистый, не раз «на локотках» заваливал кого покрепче. Работает шофёром, возит на своём стареньком «ЗИЛу» «что придётся».

Лёша любит петь. И не раз выступал в клубе. Считалось, что у него тенор. Но, поскольку в селе не было специалистов по вокалу, тенор у него был, или ещё что, никто не знал. Ну, и ладно. Тенор так тенор. Во всяком случае, Лёшино пение землякам нравилось.

В хоровых выступлениях – когда по какому-нибудь случаю сельчанам доводилось выпить – Лёша не участвовал. Петь «Ой мороз, мороз», или там «Чёрный ворон» он считал

ниже своего достоинства. Тем более, что первую-то песню все помнили и допевали до конца, а вот «Ворона» больше двух куплетов никто не знал.

Когда в клубе случались какие-то мероприятия, Лёша пел со сцены и «Белой акации гроздь душистые», и «Бьётся в тесной печурке огонь» (тут старики тихо плакали), и много ещё чего пел. Но никогда не увлекался. Песни три-четыре споёт и уходит. Даже когда земляки просили ещё что-нибудь исполнить, говорил: «Меру во всём надо знать. Спасибо за внимание». Скромно, с достоинством, кланялся и удалялся.

Пел Лёша без сопровождения всяких музыкальных инструментов, с самого начала своей «творческой карьеры» потребовал от завклубом, чтоб ему не «пристёгивали» никаких там гармошек-аккордеонов. Может быть, просто чувствовал, что голосок-то у него несильный, что гармонь может перебить его. Но зато пел так душевно, что плакали не только старики. Он вроде как даже и не пел – словно рассказывал историю из жизни.

А про казус – потерпите, сейчас будет. Просто надо ещё одну деталь добавить.

Со своей женой, Людкой, Лёша прожил двенадцать лет. Жили хорошо, дружно. Она была старше его на пять лет, но это как-то не замечалось: и она молодо выглядела, и он, мужик настырный, хозяином себя в доме сразу поставил. Дочь у них родилась – смышлёная, шустрая девочка.

Всё бы ничего, но Люда болела. Что-то там с лёгкими. Бо-

лела много лет, лечилась, стояла на учёте в райбольнице. Даже когда рожала, анестезиолог очень нервничал: «Не знаю, какую тут дозировку ей – вдруг чего не так...»

Лёша, как мог, пытался вылечить жену. И по бабкам всяким возил, и травами пытался исцелить, и к экстрасенсам таскал. Даже в Москву, к какому-то там знаменитому китайцу, на самолёте летали они.

А болячка как засела у Людки, так и «прижилась» там.

Прожив с ней двенадцать лет, Лёша развёлся. Бабы в селе, понятное дело, долго судачили об этом. Кто что говорил. Кто – «не выдюжил мужик, силы кончились», кто – «да просто предал он её, вот и всё, она ж хворая!»

Лёша никуда из села не уехал. Дом оставил жене с дочерью. Жить перебрался в пустую избу: тогда многие из деревень в города подались, этот дом вроде бы и на продажу был выставлен, но кто его купит в этой глухомани? Вот Лёша с хозяевами и договорился, что «сторожем» пока здесь поживёт. А найдутся вдруг покупатели – сразу съедет.

Людмила умерла через год после их развода. Был какой-то очередной приступ – задыхаться начала. Как обычно, вызвали «скорую», приехала она, в общем-то, быстро, но умерла Люда по дороге в больницу.

А Лёша тогда на рыбалке был с давним своим другом – на острове, километров за семьдесят. Сидят на лодочках надувных, леща полавливают. Глядь – земляк-сельчанин, Васька Плотников, на «Москвиче» подкатывает. Машет с берега –

давайте, мол, скорее сюда.

Делать нечего, снялись с якорей, гребут к берегу.

Васька, казалось бы, и не бегом бежал – на машине приехал, а говорил так, словно стометровку только что отмахал.

– Лёх, ты прости, времени на долгие разговоры нет. Последний паром щас уйдет. Я Михалычу, паромщику, бутылку дал, чтоб он подождал. Если решишь – садись, поедем. Людка умерла.

...Похоронили её тихо, скромно. Плакали всем селом: и жалко, и любили её.

Лёша вернулся жить в свой дом, к дочери. Погоревали они и – что делать-то – стали дальше жить. Выучил он её в школе, потом она в институт поступила. Замуж вышла. Дочку родила. Своим зятем Лёша очень доволен: и жену любит, и не пьет, и зарабатывает хорошо.

Дочь с зятем давно уже уехали из села – с работой-то тут, как говорится, не развернёшься. А им же, молодым, и то, и это подай. Ну, правда, по средствам живут. И машина не «Порше» какой-нибудь там навороченный, и квартира вполне обычная.

Лёша по-прежнему сухой, жилистый, не старый – в общем, вполне еще нормальный мужик. Первое время бабы-разведёнки поглядывали на него как на жениха. Даже, поговаривают, захаживал он раз-другой к Любке – продавщице сельмага, самой из себя моднице в селе.

Но потом как-то узнали (в деревне-то не утаишь – на ви-

ду все), что Лёша ночами на кладбище регулярно ходит. И с Людой разговаривает. Всё прощения у неё просит. Он же сразу после похорон сказал: «Эх, что ж у нас за врачи такие! Кто ж так лечит? На хрена ей тогда, в «скорой», эуфиллин вкололи?.. Там же совсем другое надо было... Будь я тогда с ней – выручил бы, ещё пожила бы».

Теперь про сам казус. По случаю юбилея образования области в сельском клубе концерт давали. Ну, ребяташки в свои трубы погудели, ну, местный хор свой репертуар исполнил. А потом вышел Лёша.

– Я новую песню выучил. «Гори, гори, моя звезда» – это, сами знаете, мы все помним, ещё со школы. А полный-то текст кто-нибудь из вас знает?.. То-то. Вот, и я не знал. А когда прочитал – решил, что буду теперь петь. Потому что, очень душевно написано.

И он начал петь своим несильным голосом и на этот раз как-то совсем уж душевно.

– Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда, приветная.
Ты у меня одна заветная;
Другой не будет никогда.

Смотрел он поверх голов земляков, куда-то только в ему ведомую даль. И Лёшин взгляд... Никто никогда не видел таких его глаз. Показалось, его попросту не было здесь, в сельском клубе.

– Сойдёт ли ночь на землю ясная,

Звёзд много блещет в небесах.

Но ты одна, моя прекрасная,
Горишь в отрадных мне лучах, –
пел дальше Лёша.

К этому куплету слёзы уже текли и у женщин, и у мужиков.

Звезда надежды благодатная,
Звезда любви волшебных дней.

Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей.

И тут Лёша замолчал. И как-то по-детски, растерянно, посмотрел в зал.

– Извините, там ещё один куплет остался. Я щас...

Такой звенящей тишины, наверное, никогда не знал до этого сельский клуб.

Лёша как-то сморщился всем лицом, игранул желваками. Крепко отёр ладонями глаза, очень-очень строго посмотрел в зал и... опять запел. Правда, теперь уже совсем слабым, дрожащим голоском.

Твоих лучей небесной силою

Вся жизнь моя озарена.

Умру ли я, ты над могилою

Гори, гори, моя звезда!..

Под конец песни он и вовсе «пустил петуха». Голос его сначала перешёл на шёпот, потом всем показалось, что «лучший тенор села» прямо здесь, на дощатой сцене, по-бабьи

разрыдается.

Но – допел. Он же настырный, Лёша-то.

Правда, позже не раз извинялся перед земляками: «Вы уж простите за тот случай – казус приключился».

1985 г.

Стелла

Так его звали – Стелла. Никто в Роменьяках не знал, когда и по чьей злой насмешке получил он это звучное женское имя; просто звали и звали его так, уже не находя ничего удивительного и не задумываясь над этим.

Вроде как родился он здесь, в деревне, но никто уже не помнил его настоящего имени, как не помнили люди ни его детства, ни когда он появился здесь.

Лет тридцати пяти, Стелла был высок, худощав, заметно сутул и длиннорук. Черты лица остренькие, словно природа, лепя его, спешила и в этой спешке мельчила в движениях. Говорил он чистым, ровным голосом, быстро-быстро выговаривая слова и часто повторяясь. И еще непонятно чему много смеялся на удивление открытым и напевным смехом.

Стелла был «Божьим человеком» – таких еще называют чудиками, не от мира сего и, если грубо – придурками. Говорили, что в войну он был лётчиком и стал таким после ранения. В Роменьяках верили в это мало, но при случае любили повторить приезжим «героическую историю», называя земляка не иначе как «наш Стелла». Федорка Макаренко,

большой любитель до всяких небылиц и баек, даже говаривал, что их дурашливый земляк повторил подвиг Гастелло, что жив остался чудом, а награду – мол, Героя присвоили – хотели дать, да не стали: кто ж её присвоит чудику-то.

Жил Стелла в самом центре Роменьков, в доме Силки Нахрапова, бывшего объездчика. Странными и для многих малопонятными были отношения между этими двумя людьми. Силка слыл по деревне «нелюдем» и молчуном. Ходил вразвалку, косолапо загребая ножищами деревенскую пыль, глаза прятал под густыми бровями, квадратные свои плечи держал широко и сильно походил на медведя-шатуна. За глаза его так и звали – Шатун. Но – только за глаза. Опасались. Хотя и знали, что за свою жизнь Силка никого не обидел. Ребятишек по гороховым полям гонял, пока был объездчиком, это да, но не так, чтобы сильно: поймает налётчика, уши накрутит да легонько леща даст своей крепкой, точно из дерева струганной, ладонью.

Вдвоём их никогда в деревне не видели. Силка всё больше сидел дома, мастерил, кому надо, табуретки или грабли чинил – по плотницкой части силён был мужик.

Стелла же днями пропадал на конюшне. Штатным конюхом он не был – да и кто его оформит? – но основная часть работы по уходу за двенадцатью колхозными лошадьми лежала на нём.

С конями Стелла обращался легко и привычно, словно занимался этим всю жизнь. Они его тоже любили и ждали:

знали – обязательно принесет или синеватого ломкого сахару-рафинаду, или горбушку хлебную.

Было время, когда Стелла сам управлялся на конюшне и с работой, в общем, справлялся. Но после одного случая председатель колхоза Жихарев распорядился, чтобы к коням – а, скорее всего, к самому Стелле – приставили Саньку, тринадцатилетнего белоголового мальчонку, сына тракториста Панова.

А случай вышел вот какой. Как-то знойным, «парным» днём, когда от «земляного» духа становится трудно дышать, люди возвращались с покоса. Устало переговариваясь, они позванивали вилами на плечах, крышками эмалированных бидончиков. Шли не спеша, растянувшись в длинную неровную цепь, где каждое звено – группа из двух-трёх человек.

Передние уже миновали крайние дома деревни, когда навстречу им, на дороге, в мутно-серых клубках пыли, показались все двенадцать колхозных лошадей. Табун в тяжелом галопе мчал по улице, а позади него, тоже весь с головы до ног покрытый серым налетом – только зубы сверкают! – нёсся Стелла, смеясь, выкрикивая что-то радостное, кашляя и захлёбываясь пылью.

Так они и пронеслись мимо оторопелых косарей – одиннадцать расседланных взмысленных коней и сам Стелла – на двенадцатом, своём любимце, великане Востоке.

Потом председатель долго бранил Стеллу, объяснял, что лошади устали после работы и им надо отдохнуть. Стелла,

смущённо улыбаясь, переминался с ноги на ногу, оглядывался по сторонам, словно ища у кого-то поддержки, и тихо шептал, что «коникам надоело стоять, они хотели побегать».

С того дня Стелла по-прежнему присматривал за колхозным табуном, чистил и скрёб в конюшне не за страх, а за совесть, но за ним самим теперь безотрывно присматривал белобрысый Санька, получивший указание председателя: «Если опять коники начнёт выкидывать – мухой ко мне с докладом».

За ту работу, которую выполнял Стелла, Жихарев распорядился выплачивать ему какую-то сумму. Эти невеликие деньги почтальонша тётка Анна относила Силке Нахрапову. Тот встречал её всегда сурово и своё «положь на место» гудел так, будто она в чём-то провинилась и теперь просила прощения.

Относились к Стелле в деревне по-разному. Кто-то просто обходил стороной, иные жалели, совали ему съестное, но потом, когда видели, с каким удовольствием пожирают их пышки и варёные яйца роменские собаки, стали носить свои передачи «для Стеллы» в Силкину избу.

Бывший объездчик принимал всё это с тем же мрачным равнодушием, с каким встречал почтальоншу тётку Анну. И отказываться не отказывался, и брал так, будто в долг давал. Люди привыкли к этому и отдавали продукты молча, стараясь быстрее выйти из избы.

С открытой враждой к Стелле относилась разве что одна

бабка Чечениха, острая на язык, шумливая старуха. Невзлюбила она его после того, как он прицепил на шею её чёрной комолой Ночке невесть откуда взявшийся у него бронзовый колокольчик. Да прицепил-то не просто – на стальную цепь, так, что только в кузне надо было разнимать звено.

Пашка же Деревянко, деревенский кузнец, балагур и песенник, сказал бабке со смехом, что корова, мол, у неё теперь венчанная, и что пока Стелла не выдаст её за какого-нибудь бычка, колокольчик он снимать не станет.

Так и ходила с тех пор Ночка, печально названивая Стеллиным подарком и разнося по широким росным лугам свой бронзовый перезвон. А Чечениха после этого стала называть Силкиного постояльца не иначе как придурком и всё пугала соседок, что когда-нибудь Стелла подпалит деревню.

...Тот день глубоко отпечатался в истории Роменьков. Он стал как бы временной вехой в жизни деревни. Если не надо было называть точную дату какого-то события, то обязательно говорили или «до Стеллы», или «после Стеллы». Ни одного из жителей таёжного поселения не оставили равнодушными те неожиданные события, что развернулись в один из чистых, пронзительно-ясных дней позднего в тот год для Сибири бабьего лета.

Был вечер. Короткий день угасал незаметно и стремительно, словно лучина для растопки печи. Небольшое солнце цветом отчаянно-багрового металла в кузнечном горне еще судорожно цеплялось за островерхие маковки елей, но по-

всюду уже чувствовались влажные, почти осязаемые осенние сумерки.

Ребятишки обивали босыми ногами росу с травы, созывая по задам отяжелевших на выпасе коров. Побрёхивали для порядка собаки. Поздние петухи драли горло, стараясь прокричать последними.

Председатель Жихарев мылся под рукомойником, фырча и брызгаясь, когда к нему во двор влетел взъерошенный и испуганный сын тракториста Панова.

– Дядь Матвеич!.. Дядь Матвеич!...

Белобрысый Санька никак не мог перевести дух. Худые плечики его дрожали, грудь ходила ходуном, и сам он – весь, как всегда, чумазый, с острыми слезинками в уголках глаз, был похож на зайчонка, который только что вырвался из цепких коршуновых когтей.

Жихарев разом натянул рубаху.

– Ну?! Опять что-нибудь? – выдохнул он и размашисто направился к калитке. – Да говори ты!

Санька отдышался.

– Слепой взбеленился!

Была в небольшом колхозном табуне лошадь, которая значилась в ветеринарных списках как «ограниченно пригодная». Однажды на покосе кто-то неловко повернулся с вилами, и стал конь кривым на один глаз. Сначала его совсем было освободили от работы; ходил он боком, часто спотыкался, ногами перебирал осторожно, как если бы шёл неподкован-

ным по речному льду. Но потом обвык, приноровился всё время выворачивать голову и решено было его оставить для лёгкого труда – от лесхозного вывоза брёвен освободить, а хлебную будку из пекарни привезти или личные картофельные поля колхозников бороновать – это ему по силам.

Словом, оставили коня, решили не пускать «в расход».

Стелла отличал калеку в табуне. Хотя он и выделял любимчика-Востока, Слепому не меньше того перепадало сахарных кусков и ласковых похлопываний по шее.

Слепой был ещё не старым покладистым меринком, хозяйина своего – Стеллу – слушался безропотно и покорно. А то, что случилось с ним в тот день, могло произойти с любой другой лошадю, за которой не усмотрели – Слепой объелся «дурной» травы.

...Взрывая копытами влажную землю, конь метался по тесной загородке возле конюшни. Крупно вздрагивая всем телом, он косил свой невидящий красный глаз, круто выворачивал сильную шею и с хриплым ржанием натыкался грудью на берёзовые лесины ограды.

У конюшни уже собрались люди. Держась поодаль от загородки, они негромко переговаривались, советуясь, как лучше «успокоить» Слепого – жახнуть пулей, или изловчиться и накинуть на него верёвочную петлю.

Председатель оглядел народ. Стеллы не было. Словно угадав, кого высматривает Жихарев, Санька мотнул вихрастой головой:

– Он в мастерских. Там трактор чинят.

Но Стелла уже ковылял на своих длинных ногах к конюшне: он не пропускал ни одного людного сбора в деревне. Председатель чертыхнулся про себя и послал за Устинычем – охотником, у которого был карабин.

Дикий, срывающийся на высоте крик больно стеганул слух людей. Все инстинктивно шарахнулись, единой дрогнувшей массой шагнули к загородке и... оцепенели.

Кричала Лида Мельникова, совсем ещё молодая, некрасивая, с белым рыхлым лицом, бухгалтерша.

Никто не заметил, как её двухлетняя дочь – тоненькая, болезненная Настюшка – пролезла под нижними берёзинами и оказалась в загоне. Она немного проползла на четвереньках, пачкая круглые коленки и пальчики мягкой унавоженной землёй, и теперь пыталась встать, помогая себе руками.

Слепой взметнулся, подстёгнутый женским криком, сделал «свечу», заметался в тесном пространстве ещё бешенее, скаля длинные неровные зубы и роняя под ноги пену. В какое-то мгновение все вскрикнули и невольно отвернулись – так близко прошёл потный лошадиный круп от ситцевого платяшка девочки.

Настюшка снова опустилась на четвереньки и тихо плакала, вытирая щёки грязными кулачками и испуганно глядя на чёрное мечущееся над ней тело.

Лида теперь уже кричала, не переставая, с жутким, рвущим сердце надрывом, а когда перехватывала воздух,

её крик сменялся таким же страшным и безумным стоном-вздохом.

Будто завороченные неведомой силой, люди следили за движениями незрячей лошади и не могли оторваться от этого ужасного, гнетущего своей неотвратимостью танца.

Жихарев быстро взглянул на Стеллу. Тот тоже обернулся, и взгляды их сошлись.

Вот тогда-то и показалось председателю, что промелькнуло на миг в глазах Стеллы что-то глубоко осознанное, ясное и печальное.

А потом Стелла шагнул к загородке и тихо позвал:

– Коник-конёк, конёк-воронок...

Тут же вслед за ним рванулся всей своей тяжелой массой Силка Нахрапов:

– Куда?! Задавит!..

Но вдруг почуял на своём плече властную председательскую ладонь:

– Не трожь!..

Силка было дёрнулся ещё, но под горячим, каким-то почти сумасшедшим взглядом Жихарева сразу обмяк и сник.

Как ни тих был голос Стеллы, Слепой всё же услышал его. Услышал, узнал какими-то последними, оставшимися ещё разумными клетками своего лошадиного мозга.

Конь замер совсем недалеко от ребёнка. Стоял чёрным изваянием, натянутый, дрожащий, неподвижный. Лишь тонкие ноздри вздымались в такт горячечному дыханию.

Стелла перелез через ограду и пошёл к Слепому. Он вытянул вперёд руку и продолжал тихонько окликать его.

Алексей Мельников – муж Лиды – в это время осторожно, пригибаясь к земле, крался к противоположной стороне загонки. Он успел! Когда Стелла коснулся вздрогнувшей лошадиной морды, Настюшку уже передавали в дрожащие руки матери.

Все напряглись, когда Стелла, вплотную подойдя к коню, обнял его за шею. На миг показалось, что произошло невероятное – Слепой успокоился. Но... лишь на миг.

Больной зверь всхрапнул, развернулся на месте всем своим могучим телом, вмиг свалил человека и пошёл плясать копытами по тонким пальцам, по худым лопаткам, по всему вытянувшемуся телу... Пока глуховатый выстрел из карабина не свалил его сначала на колени, а потом и набок.

Так и закончился тот памятный день для всех жителей глухой сибирской деревушки под названием Роменьки.

...Год из года, таежной осенью, когда берёзы надевают свой венчальный, для «бабьего лета», наряд, приходят на тихое деревенское кладбище две женщины. Они очень похожи: обе незвращенькие, белолицые; у старшей глубоко запеклась в глазах невысказанная грусть, младшая несмело смотрит на могильные кресты и жмётся к матери.

Они проходят к самому краю кладбища и кладут полевые цветы на скромный холмик. Креста над ним нет. Только простенькая, давно выцветшая табличка. На ней блеклыми

красками и не очень ровно выведено: «Здесь покоится Стелла». И дата смерти.

1984 г.

Недописанное эссе

Он сидел в маленьком уютном испанском ресторанчике с бокалом вина и смотрел на море. Оно было совсем близко. Он слышал его ритмичные, покойные вдохи-выдохи, отчётливо чувствовался его запах – солёный, с привкусом водорослей, йода и немножко мазута.

Ему давно хотелось побывать в Испании. Именно вот так – одному, чтобы никто не мешал, чтобы сидеть с бокалом хорошего вина, молчать, ни о чём не думать и смотреть на море.

Поэтому из того малого времени, что отвёл себе на эту поездку, он каждый день приходил именно сюда, в недорогой, стоявший на отшибе, вдали от туристской суеты, ресторанчик с открытой террасой. Берёг каждую такую минуту. Заказывал лёгкий ужин, бокал вина, курил и смотрел на море.

Из-за соседнего столика встала и подошла к нему девочка. На вид, лет шести или семи. Встала рядом и начала молча смотреть ему в глаза.

Он сразу отметил: на удивление, красивая. Но не эта почти идеальная, по земным меркам, красота удивила его. Глаза девочки – вот что оказалось самым неожиданным.

Ярко-зеленые (он видел такие только в мультике про Ма-

шу и Медведя – как раз у Маши, нарисованные художником), они смотрели на него как-то странно. Слишком уж не по-детски.

– Sorry, she is autist, – услышал он женский голос. – Excuse us please.

Подошедшая к его столику женщина тоже была красивой. Он лишь мельком взглянул на неё, но тут же отметил про себя: «Это уже земная красота».

А девочка стояла рядом и всё смотрела на него своими удивительными зелеными глазами. Без всякого напряжения, без эмоций. Взгляд её ни о чём не просил, ничего не требовал от него. Она просто смотрела.

Он вышел из-за столика. Ему показалось неправильным, неестественным, если девочка будет смотреть на него снизу вверх. Но когда он встал, ей пришлось ещё выше поднять голову, глядя на него.

Тогда он присел перед ней на корточки.

– Аутист... – негромко, как бы про себя сказал он. – Ну, и что? Бывает. Аутисты тоже человеки.

– Вы – русский?! – женщина отчего-то перешла на шёпот.

– Да. Это, знаете, тоже бывает.

Отвечая, он так и не повернул голову к женщине. Он пытался понять, что за сила приворожила его к этим странным зелёным глазам – немигающим, без всякого выражения, но... и не равнодушным – он чувствовал это – глазам девочки.

Про аутизм он знал не понаслышке. Его двоюродная сестра давно жила в США, они там с мужем родили двоих чудесных мальчишек, но вот младшенький оказался как раз в этой неведомой, до сих пор так и не познанной «обычными» людьми стране, имя которой – Аутизм.

Он прислушался к себе. Странно, но напряжение он уловил только от женщины. Внутри же его самого был не просто покой – какое-то умиротворение.

И вдруг он очень чётко осознал для себя, что дальше должно что-то начинать происходить. Что надо что-то делать.

– Здравствуй, малыш, – сказал он. – Меня зовут Ингвар. Хотел протянуть ей руку и... не протянул.

Девочка молчала.

– Знаешь, мой неожиданный зеленоглазый друже, а ведь я так, на корточках-то, долго не просижу – не те годы.

«Эх, ты, старый дурачина, – подумал он, – вечно сам себе какие-то сказки сочиняешь. Ну, глаза. Ну, зелёные, как в мультике. Эх, ты...»

Он опять сел за стол и взял бокал с вином.

– Энге, – сказала девочка и протянула ему ладошку.

Он успел отметить и то, как резко – опасно резко – побледнела её мать, и как сам он не сразу сообразил, что нужно делать. Потом пожал прохладную, чуть влажную детскую ладошку. Еще раз представился:

– Ингвар.

Судя по всему, женщине нужно было срочно сесть, и он предложил:

– Сударыни, а не хотите ли вы составить мне компанию? Прошу – присаживайтесь.

Он встал и подвинул кресла сначала женщине, потом девочке. Попытался как-то разрядить повисшую паузу:

– Может быть, вам что-нибудь заказать?

Во взгляде ребёнка что-то изменилось (девочка всё продолжала неотрывно смотреть ему в глаза). Он никак не мог понять – что. Но она глядела на него уже как-то иначе. Если бы он умел клясться, он поклялся бы, что в странно-зелёных глазах промелькнуло... сочувствие.

– Простите, вы так побледнели, – это уже женщине. – А что, прежде... она не говорила?

– Нет...

Теперь уже он сам очень твёрдо и пристально взглянул в глаза девочки (почувствовал при этом, что никаких особых усилий не потребовалось):

– И что, Энге? И почему же мы так долго молчали?

Произнёс это с улыбкой, но не с той – «для маленьких», а с иронией, вполне взрослой.

– Мама, вот, смотри, как переживает за тебя. А ты всё молчишь. Давай уже, Энге, колись, в чём дело-то.

И вот тут ему стало по-настоящему страшно. Чужая страна. Чужие люди. Ребёнок аутист, семь лет молчал. Мама в шоке – первое слово дочь произнесла. И тут – ты: здраcssь-

те-пожалуйста, колитесь, с чего всё началось, сейчас, мол, начнём лечиться, и всё у вас будет в шоколаде.

Ах, как ему стало не по себе...

– Ты не переживай, – очень ровным голосом по-русски сказала девочка. – Всё будет хорошо. Тебе сейчас сколько полных биологических лет?

Странно, но как раз с этого момента он перестал волноваться.

– Ну... если до октября доживу, будет пятьдесят семь.

– Да, всё верно.

Он и хотел бы хоть один взгляд бросить на сидящую рядом женщину – как она там, нужна ли помощь, но, оказалось, ему уже не до неё. Откуда-то изнутри появилась уверенность: с ней будет всё нормально.

Всё его внимание переключилось на девочку. На явное, жуткое, бьющее по нервам несоответствие: ребёнок, аутист – и вдруг такие недетские интонации. Совсем не детские.

– Что означает твое «всё верно»?

– Что пятьдесят семь.

– И... что?

– Ничего. Как человек, еще поживёшь. Выполнишь это задание – будет другое.

И тут он вспомнил. Уже не раз ему приходили в голову такие мысли, но он их гнал прочь: «Это всё от твоей пьянки, допился, дурачина! Лучше, возьми и напиши очередной стиш на эту тему. Как ты умеешь – и с самоиронией, и с сар-

казмом».

Он вспомнил, что не раз думал об этом. Что он – Странник, транзитник в этом мире, на этой планете.

Подумалось: «Может, это «белочка»? Или чей-то глупый розыгрыш?» Но нет, всё было на месте: вот пахнущее водорослями и мазутом море, вот сигареты на столе, вот он сам – и даже не в запое сейчас. Вот эта странная девочка с ярко-зелеными глазами.

Неожиданным было только тихое умиротворение внутри. Такого с ним прежде не было.

– А какое у меня будет другое задание? – спросил он.

– Не знаю. Это не ко мне. У меня другие функции.

В это время он боковым зрением увидел, что женщина сидит рядом, на диване, и улыбается. Расслабленно так. Как под воздействием гипноза.

Он решился.

– Малыш, скажи: я... человек?

– Нет.

– А ты?

– Нет.

– Прости... а кто я?

– Сущность.

– И ты – тоже?

– Да.

– А что это означает?

– Я не знаю. Это не входит в раздел моих функций. Я, как

и ты, просто выполняю задание, прописанное программой. У всех сущностей свои функции.

– Так, значит... Мы что – роботы?

– Нет. Мы – сущности.

«Вот те на! Полвека жил и думал, что человек, а тут – какая-то сущность».

– Скажи, а что это за «другое задание»?

– Не знаю. Это не моя функция.

– Ладно, а хотя бы... где я его буду выполнять? Здесь, на Земле?

– Ответа нет. Я знаю только, что ты удовлетворительно выполняешь это задание – ты сборщик информации. Поэтому ты больше тридцати местных, земных, лет был журналистом. Еще знаю, что тебе начислено семь баллов. Поэтому следующее задание, скорее всего, будет сложнее. Не спрашивай – какое. Я не знаю этого.

Он взглянул на женщину. Она всё так же сидела рядом, на диване, и тихо улыбалась. «Отключили», – понял он.

– Скажи, а что будет с ней... с твоей «мамой»?

– Через месяц – по местному календарю – я попаду в ДТП. Моё биологическое тело, как здесь принято, закопают в землю. Эта женщина полтора года будет в депрессии, потом уверует в бога, но монашкой не станет. Она больше не выйдет замуж, усыновит двоих чужих детей и умрёт счастливой.

Он помолчал. Прислушался к себе. Внутри по-прежнему царил непривычный покой.

– А ты здесь, сейчас, со мной – не случайно?

– Да. Я здесь для того, чтобы ты узнал: твоё задание выполнено.

– Послушай. А когда?..

– Когда закончится твой земной цикл? Когда сам решишь. Тебе что-то вроде отпуска предоставлено. Как только допишешь это эссе, запустится новая программа. А предыдущая закончится.

Недопив свое вино и забыв сигареты, он поднялся из-за столика и пошел в сторону моря. Он начал думать, как завершить это странное эссе.

И никак не мог сочинить последнюю фразу...

2018 г.

Подарки издалека

Своя машина у Михаила Ивановича была уже далеко не первая, но магнитолы ни в одной из них никогда не было. Его коллега, молодой, смешливый Виталька, подшучивал беззлобно:

– Это потому, Иваныч, что ты у нас из породы вымирающих совковых мастодонтов.

Михаил Иванович не обижался. Выйдя на пенсию, он остался работать водителем, развозил на стареньком «Газоне» хлеб по сельским магазинам. В хлебовозке радио тоже не было. В дороге вся эта трепотня да музычка ни к чему были. Ему нравилось просто рулить, прислушиваться к мер-

ному гулу хорошо отлаженного двигателя, к шелесту шин по асфальту. И ещё – думать.

Думалось в рейсах о разном. То вспоминалось детство. То школьные годы. То служба в армии. То родители.

Совсем недавно вспомнил свою старшую внучку, Алиску. Сейчас-то она уже взрослая – в четвёртый класс пошла. Ладненьким тополком растёт, красивая, высокая, умница, в школе одни «пятёрки». А когда совсем дитём была, он учил свою дочь и пеленать малышку, и купать – руки-то помнили, как своих двоих детей растил.

Дочь просила: «Пап, уложи Алиску спать, у тебя лучше получается». Он ложился рядом с внучкой, неспешно, убаюкивающим тоном рассказывал незатейливую сказку, и через короткое время та начинала мирно сопеть, засыпать. Однажды, уже в полудрёме, вдруг повернулась, крепко-крепко обняла за шею, прижалась к нему всем своим маленьким жарким тельцем и прошептала-призналась в ухо: «Деда, я тебя люблю...»

Когда ему в рейсе вспомнился тот вечер, даже пришлось остановиться: глаза предательски защипало, пришлось выкурить внеплановую сигарету.

Дочь с семьёй перебралась в город, теперь Михаил Иванович видел их нечасто.

Ещё ему частенько вспоминался сослуживец, Семён. Жил он далеко, в Иркутской области. Работал крановщиком. Когда ехал в отпуск к матери, всегда заезжал на недельку к Ми-

хаилу Ивановичу. Они дружили ещё с армии. В самоволку тогда многие бегали – кто зачем, кто к девчатам из соседнего села, кто за бутылочкой в сельмаг. Они с Семёном тоже иногда уходили из расположения части. Делали в стоге соломы большую нору, забирались в неё и... размышляли о смысле жизни. Понятно, никому не говорили об этом. Если б признались – засмеяли бы их ребята, это точно.

Семёну так и не случилось жениться, не обзавёлся он и детьми. Иногда Михаилу Ивановичу казалось, что тот приезжает к нему только для того, чтобы опять вместе поразмышлять, для чего человек рождается на свет, для чего вообще живёт. Так оно и бывало, когда Семён приезжал. До утра могли просидеть на крыльце под звёздами.

– Чудак ты человек, – по-доброму, стараясь не обидеть, говорил другу Михаил Иванович. – Ну, вот возьми меня. Ладно, первый брак комом вышел. Но всё равно, сын тогда у меня родился. А от второй жены дочь. И две внучки уже у меня. То есть, что выходит? След в жизни я оставил. Разве не в этом смысл жизни?

Семён задумчиво молчал в ответ.

Похоронив родителей, Михаил Иванович часто вспоминал и их. Отец ушёл раньше матери на три года – сердце не выдержало второго инфаркта. Мама его была верующей, наизусть читала молитвы, стойко выдерживала все посты. По воскресеньям он возил её на своём Уазике-«буханке» в соседнее село, в церковь на службу.

Было время, Михаил Иванович крепко подружился с «зелёным змием». Сначала прикладывался к рюмке только по выходным, потом стал выпивать и каждый вечер – как он говорил, усталость снимал. В последний рабочий день перед выходным напивался крепко.

После пьянки всегда сильно болел. Лежал бревном на кровати, лицом к стене, даже курить не выходил. Мать – маленькая, худенькая, уже совсем седая – присаживалась рядом, клала ему на больную голову свою натруженную руку, гладила, как маленького:

– Мишенька, чадушко ты моё неразумное...

Похоронив мать, Михаил Иванович понял, как ему не достаёт её. Со спиртным он практически завязал – пропал интерес к этому. Да и «мотор» в последнее время что-то шалить начал, а с похмелья сердце, казалось, так и норовило из груди выскочить.

Иногда на него нападала ничем не объяснимая тоска. «В самом деле, – думал он в очередной рейсе, – для чего крутимся-вертимся, бьёмся за кусок хлеба, для чего живём? Ведь, если разобраться, я как та лошадь на мукомольне, год за годом, всю жизнь по замкнутому кругу хожу. Вот, если я не выбиваюсь из графика, в Привольном мне навстречу рыжий пацан с рюкзачком будет идти – в школу. В Дерновке опять увижу женщину в сиреневой куртке – свою маленькую кривоногую собачонку будет выгуливать. А в Тростном навстречу попадётся «УАЗик» с надписью «Лесная охрана». И

так день за днём, месяц за месяцем, год за годом. Вернусь после работы домой – тоже одна рутина. Раньше хоть на рыбалку с удовольствием выбирался, так теперь и это мне не надо...»

С неожиданной тоской порой накатывали воспоминания о жене одноклассника, Серёги Мальцева. В молодости красавица и умница, она окончила институт, начала работать в школе учительницей. А после сорока как-то вдруг, неожиданно для всех, начала всерьёз пить. Серёга и ругался с ней, и кодировал не раз, даже бить пытался – всё без толку. Бывало, уходя на работу, запирал её дома. Она подсмеивалась над мужем: «Чего ты сторожишь меня? Да я, если мне надо, и в пустыне найду выпить».

Когда Татьяна была трезвой, Михаил Иванович пытался образумить её – жалко было и Серёгу, и её саму, баба-то она была хорошая, добрая.

– Тань, ну, скажи, для чего тебе это? Ладно, положим, я тоже не без греха. Но, посмотри, ведь работу, как ты, не бросаю, кручусь-верчусь, до пенсии хочу дотянуть.

– А зачем? – спрашивала она.

– Что зачем?

– Ну, вся эта суета человеческая – учёба, работа, пенсия – зачем? Для чего в конечном-то итоге? Ты вот всю жизнь баранку крутишь, радикулит себе нажил, родителей похоронил, дети разъехались. Живешь один, до пенсии тянешь – а для чего всё это?

Михаил Иванович удивлялся.

– Не, ну ты даешь! Что ж мне теперь, ложись да помирай? Я хлеб людям вожу. Дело полезное, общественное.

Татьяна смеялась.

– А что с тем твоим хлебом потом бывает, задумывался? Да просто в сортире он оказывается. Им ещё привези, опять сожрут – и снова в сортир. Знаешь, Миш, я как-то посчитала, сколько фекалий человечество «произвело» за время своего существования – такой Монблан даже представить себе невозможно! Рождаемся, жрём, пьём, умираем... И так из века в век. Новые поколения этот вонючий Монблан всё увеличивают и увеличивают... Вот тебе и весь смысл жизни.

Михаилу Ивановичу становилось как-то не по себе от таких слов Татьяны.

– погоди, не может быть, чтобы всё вот так замыкалось на... этом твоём Монблане. А Пушкин с Достоевским? А картины великих художников? А египетские пирамиды?

Татьяна грустно улыбалась.

– Всё это создавалось исключительно или ради денег, или ради славы. Деньги – это алчность, жажда наживы, а слава – амбиции, гордыня. И то, и другое грех.

– А пить разве не грех?

– Грех, конечно, Но Боженька пьяниц любит, разве не слышал? Знаешь, почему? Им другие грехи – более тяжкие – совершать некогда: они ж всё время пьют.

И Татьяна смеялась каким-то сухим, совсем невесёлым

смехом.

Умерла она, не дожив до пятидесяти. Похоже, знала, что конец близок, но от больницы наотрез отказывалась. В гробу лежала высохшая, жёлтая, с сильно заострившимся носом, страшная...

По воскресеньям, в законный выходной, Михаил Иванович ездил на своей «буханке» в райцентр. Когда приходила пора, заходил в парикмахерскую постричься. В хозмаге что-то нужное подыскивал. А в большом универмаге закупал продукты.

Как-то так вышло, что со временем эти поездки в райцентр стали для Михаила Ивановича чем-то вроде общественной нагрузки. Перед выездом он объезжал все семнадцать дворов на своей улице и собирал заказы – кому что купить. Хозяйки давали заранее припасённые пакеты, деньги и записочки – кому чаю, кому сахара, гречки или маргарина. Деньги Михаил Иванович заворачивал в эти записки, в магазине аккуратно раскладывал покупки по пакетам и в этих же записках привозил сдачу и чеки.

Последний пакет она всегда заносил Макаровне, своей соседке. С ней сложились особые отношения.

Макаровна была возраста матери Михаила Ивановича, тоже жила одна, в последнее время всё чаще болела – особенно на ноги жаловалась. Маленькая, кругленькая, уютная, она, как могла, хлопотала по своему немудрёному хозяйству, тихой, неприметной тенью сновала из дома в огород и обратно.

Из близких у неё остался только сын Васька. Он сидел в колонии за пьяную драку. Срок дали большой: тот, кого он ударил, упал, стукнулся головой о бордюр и в больнице умер.

Макаровна ждала сына тихо, безропотно, никому не жалуясь на судьбу.

– Ничего, – поддерживал её Михаил Иванович, – дождёшься, чай, своего непутёвого. Вот вернётся Васька, мы с ним крышу на твоём доме перекроем, пора уже.

После смерти матери Михаил Иванович стал заходить к Макаровне часто. Картошку помогал выкапывать. Прошлым летом калитку обновил. Нынче собирался полы перестилать на кухне – похоже, совсем сгнили.

Иногда он растирал ей колени мазью со змеиным ядом – больно уж маялась Макаровна с ногами. Потом бережно укутывал её ноги старенькой шерстяной шалью.

– Тут, Макаровна, главное регулярность. Если раз-другой растереть – это так, пшик один, никакого эффекта. А вот если регулярно, обязательно пройдут твои коленки, увидишь. Вон, егерь наш, Серафим, как раз этой мазью ноги свои вылечил. Теперь опять бегаёт по лесам, что твой заяц.

Макаровна отвечала Михаилу взаимностью. Когда тому шею продуло, и он неделю на больничном провалялся, навещала по-соседски каждый вечер. Компрессы какие-то ему на шею клала, супчик варила, а то котлеток нажарит.

Когда Михаил Иванович приходил с рыбалки с уловом, Макаровна пекла пирог с рыбой – знала, что это его люби-

мая еда. Иногда затевала блины. Они подолгу засиживались у Макаровны за ужином, неспешно беседовали о том, о сём, пили чай с вареньем.

Однажды, вернувшись из райцентра, Михаил Иванович зашёл к своей соседке и, помимо её скромного, как всегда, заказа, вывалил на стол кусок сыра, коробку конфет, какой-то особенный чай.

– Не поверишь, Макаровна – это тебе привет от твоего Васьки.

Та растерянно присела на табурет:

– Как так?

– А вот так, – улыбнулся, довольный. – С месяц назад я в Ермилово ездил, познакомился там с одним шоферюгой. Разговорились – оказывается, он с твоим Васькой вместе срок тянул. Недавно освобождился, а сейчас, кроме магазинов, в ту же зону продукты возит. Вот ведь, ирония судьбы, да?

Михаил Иванович снял старенький пиджак, сел за стол.

– Чайком-то напоишь?

Пока Макаровна собирала на стол, продолжал рассказывать.

– Шоферюга этот говорит, сидит твой Васька хорошо, работает справно. Им же там какую-никакую копеечку платят, а тратить-то особо некуда – в ларьке чаю-сахару-сигарет купят, вот и все траты. Васька-то узнал, что мы с этим его дружком в Ермилово при разгрузке встречаемся, вот и решил по-

баловать мать-то. И про твой день рождения, говорит, помнит – обязательно обещал подарок прислать.

Пока Михаил Иванович чаёвничал, Макаровна сидела молча, тихонько утирала глаза кончиком платка.

С тех пор подарки издалека нет-нет да и появлялись в её доме. То тёплые, верблюжьей шерсти, носки Михаил Иванович привезёт, то полусапожки с искусственным мехом внутри – в них удобно во двор выходить.

...В тот выходной сердце у Михаила Ивановича совсем расшалилось. То забарабанит в груди торопливой заячьей лапкой, то вдруг на какое-то время вообще перестанет биться, словно вот-вот совсем остановится. И ещё – его «мотор» будто кто обхватил противной когтистой лапой и держал, держал цепко, не отпуская.

«Похоже, и курить пора бросать», – невесело думал Михаил Иванович, возвращаясь из райцентра домой и тревожно прислушиваясь к новым ощущениям.

Развезя пакеты с продуктами, он остановился у дома Макаровны, выключил двигатель и уже открыл дверь кабины, когда сердце пронзила резкая, острая, неведомая доселе боль. Охнул, успел ещё подумать: «Как кипятком плеснули... А как же подарок?..»

Макаровна слышала, как подъехал «УАЗик». Посидела за столом, ожидая Михаила Ивановича. Потом выглянула в окошко, увидела открытую дверь машины и его самого – положившим голову на руки, на руль. Накинула старенькое

пальто, вышла.

Постояла минуту рядом с «УАЗом», уже всё поняв. Дотронулась рукой до холодеющей щеки Михаила Ивановича. Тихо прошептала:

– Мишенька... Сынок...

Рядом с машиной на земле лежал пакет. Макаровна взяла его и пошла в дом. Позвонила в «скорую»:

– Приезжайте. Покойник тут у меня...

Открыла пакет. Там лежал красивый павлопосадский платок. Макаровна положила его на стол, разгладила ладонью, посидела, молча глядя на него. Потом достала из комода свёрнутый вчетверо листок бумаги. Развернула, перечитала сухие официальные строки. В письме значилось: «Настоящим уведомляем, что Ваш сын... скончался в учреждении ЮУ... похоронен на спецкладбище... № могилы...».

И дата. Двухгодичной давности.

2021 г.

Ломбард желаний

Эта странная лавка размещалась в старинном – наверное, ещё девятнадцатого века – доме из красного кирпича. Вывески над тяжёлой дубовой дверью не было, однако на широкой ступени перед входом хорошо читалась надпись, выполненная чёрной краской: «Ломбард желаний».

Прожив довольно много лет в этом провинциальном купеческом городке, я не раз проходил мимо и почему-то не

обращал на лавку внимания. А в тот тёплый, безветренный вечер бабьего лета, когда природа тихо засыпает в преддверии зимы, мне вдруг вздумалось зайти.

Хозяином оказался старик. Высокий, худой, сутулый. Брови седые, косматые. Одет, как мне показалось, то ли в затрапезный халат, то ли в какие-то обноски – в полумраке, царящем в лавке, трудно было рассмотреть.

– Здравствуйте, – сказал я.

Он не ответил. Бегло глянул на меня и склонился над большой тетрадью. Подумалось: странно – вроде посетитель зашёл, а хозяин ноль внимания.

– Скажите, а почему ваш магазинчик так интересно называется – «Ломбард желаний»?

Старик закончил что-то писать и отодвинул тетрадь.

– Если вы зашли просто так, из праздного любопытства, то извините, я закрываюсь.

Я улыбнулся.

– А если не из праздного? Я ведь клиент, верно? Так, может быть, обслужите меня?

Старик приподнял свои косматые брови и прямо, в упор, посмотрел на меня. Глаза его оказались на удивление молодыми и яркими.

– Молодой человек, вы знаете, что такое ломбард?

Я немного замялся.

– Ну, если не ошибаюсь, это выглядит так. Когда человеку приходится... в общем, туго с деньгами, он несёт в лом-

бард какую-то вещь, отдаёт её в залог с надеждой обязательно выкупить потом. Если по разным причинам у него не получилось найти нужную сумму для выкупа, ломбард оставляет эту вещь себе. А потом вы с выгодой для себя продаёте её. Этим и живёте. Я ничего не путаю?

Старик молча прошёл к входной двери и запер её изнутри на большой засов.

– Я закрываюсь.

Потом обернулся ко мне.

– Нет, вы ничего не путаете.

Он опять встал за свой прилавок.

– Если быть юридически точным, я осуществляю кредитование граждан под залог... того, что им принадлежит. Никакого нарушения закона. Выкупите то, что оставили в залог, вовремя – ваше право, я с этого ничего не поймею. Не получится у вас – извините, тогда это уже моё, и я могу распоряжаться им, как мне заблагорассудится.

– Да, с этим понятно, – сказал я. – Но всё же – почему именно «Ломбард желаний»?

И тут старик – совершенно неожиданно для меня – предложил:

– Хотите кофе? У меня хороший, «Арабика».

Кофемолка у него была старинная, ручная. Она очень уютно, по-домашнему, урчала, перемалывая зерна. Он поставил турку на конфорку стоящей в углу газовой плиты.

– Вам как, покрепче? Присаживайтесь в это кресло.

Возникшее у меня ощущение сюрреализма не покидало меня, однако эта кофемолка, запах закипающего напитка действовали успокаивающе.

– Простите, хозяин, с ломбардом всё ясно. Но всё-таки, причём тут желания?

Кофе, в самом деле, оказался чудесным. Старик аккуратно отпил из чашки.

– Тут вот какие условия. Вы оставляете мне в залог определённую часть из вашей жизни, а я на некоторое время отправляю вас в любое, какое вы пожелаете, время. В прошлое. Только в прошлое. С будущим, извините – это не ко мне.

В мистику я никогда не верил. В чудеса, белую, чёрную или любую другую магию – тоже. Но здесь, в маленькой пыльной лавочке, тёплым вечером уходящего лета, наедине с этим странным стариком мне вдруг захотелось поэкспериментировать.

Старик взял наши пустые чашки, отнёс их куда-то в угол, послышался плеск воды. Потом он вернулся, сел за стол и без улыбки посмотрел мне в глаза.

– У меня твёрдый тариф. За один час путешествия в прошлое я беру один год из жизни клиента.

Признаюсь: при этих словах я почувствовал между лопаток какой-то неприятный холодок. Он продолжал:

– Я открыл эту лавку не для того, чтобы зарабатывать деньги. Это скучно. Богат не тот, у кого много – тот, кому хватает.

Возникла неловкая пауза. Потом я спросил:

– А этот год из жизни клиента – как вы им распоряжаетесь, когда он становится вашим?

Старик скрестил на столе пальцы рук. Они были сухими, длинными и, как показалось, очень сильными. Почему-то вспомнилась недавняя телепередача про пауков. Наконец, он ответил:

– Не догадываетесь? Посмотрите на меня и скажите, сколько мне лет. За восемьдесят? Под девяносто? Так нет же, я гораздо старше. Поверьте, настолько старше, что... в общем, столько не живут. И, повторю, всё честно: я выполняю ваше желание, и вы совершаете путешествие в прошлое, мне же достаётся один год из вашей жизни. И он теперь мой. Впрочем, вы вправе забрать его. Тогда я сделаю так, что вы не будете помнить ничего из этого путешествия в прошлое. Совершенно ничего. Словно этого часа и не было.

Опять каким-то зябким холодком повеяло в спину. Но отступать было поздно.

– Простите, а могу я спросить: насколько эта ваша услуга востребована? Что, у вас много клиентов?

Старик взял свою толстую, изрядно потрёпанную тетрадь, подержал в руках, как бы взвешивая её.

– Мне хватает. Кому-то хочется вернуться в прошлое, чтобы пообщаться со своими близкими, ушедшими в мир иной. Иные отдают часть жизни, чтобы хоть ненадолго вернуться в своё детство. Или в очередной раз пережить ка-

кие-то счастливые для них мгновения. Среди моих клиентов есть и постоянные.

У меня возникло ощущение, будто я читаю какую-то фантастическую повесть.

– Скажите, а, если в прошлом я пообщаюсь с конкретным человеком... он будет помнить меня, наш разговор?

– Нет. Помнить будете только вы. Никто – и мы с вами, в том числе – не имеет права вмешиваться в историю.

Честно говоря, в тот момент я готов был улыбнуться всем этим странным фантазиям, просто встать и уйти, но меня удерживали глаза старика – он смотрел на меня пристально, как-то грустно и... почти равнодушно. Мол, хочешь – бери, не хочешь – вон Бог, вон порог.

Я спросил:

– А можно попасть не просто в прошлое, а в какой-то конкретный день?

– Да, пожалуйста.

– И какое-то конкретное место я могу выбрать?

Он кивнул. Я задумался, вспоминая. Потом решил:

– Знаете, я принимаю ваши условия. Согласен: год жизни за час путешествия в прошлое. Так вот. Пусть это будет 19 октября 1896 года. По старому стилю.

Старик помолчал, опять взял свой толстый грессбух. Внимательно посмотрел на меня.

– Простите, могу я спросить? Почему именно этот день? Впрочем, можете не отвечать.

Я встал.

– Нет, отчего же. Понимаете, накануне, 17-го октября, в Александрийском театре оглушительно провалилась премьера спектакля «Чайка» по Чехову. Его даже освистали тогда. Антон Павлович на следующий день, ни с кем не прощаясь, уехал в своё Мелихово. Он уже тогда был болен, а тот злосчастный провал сильно спровоцировал болезнь.

Я помолчал, прислушиваясь к себе. По моим ощущениям, у меня повысилось давление. Пришлось признаться:

– Знаете, я ведь тоже пишу. А Чехов – мой любимый автор. Мне очень хотелось бы пообщаться с ним, поддержать как-то. Хотя...

Старик тихо заметил:

– Да-да, я уже говорил, он не будет помнить об этой встрече.

Моя нерешительность оказалась недолгой:

– Нет, всё равно! Отправляйте!

И я отправился в 19 октября 1896 года, в Мелихово.

...Бородка и усы у Чехова были рыжеватыми и, как мне показалось, не совсем ухоженными. Знаменитого пенсе я не увидел. Передо мной за письменным столом сидел интеллигентный, очень уставший, на вид, человек со следами раннего старения на лице. Тёмно-карие глаза обрамляла частая сеточка морщин.

– Здравствуйте, Антон Павлович, – сказал я. – Простите, я к вам незваным гостем.

– Здравствуйте, – ответил он, вставая. – Вы кто?

Стало понятно, что я совсем не готов к этой встрече.

– Знаете, я... путешественник по времени. Я из будущего.

Писатель помолчал, пристально вглядываясь мне в глаза.

– Извините, милейший. Как вы здесь оказались и кто вас впустил?

Найти нужные слова оказалось крайне непросто.

– Антон Павлович, поверьте, для меня самого это настоящий шок! Честно говоря, я всё ещё не верю. Но... один человек... странный человек... пообещал, что я окажусь в прошлом. Ровно на один час. И я выбрал этот год, этот месяц и день. И захотел встретиться с вами.

Чехов показал мне рукой на диван – садитесь. Грустно посмотрел на меня.

– Какой у вас диагноз? Шизофрения? Признайтесь честно, я доктор – мне можно.

Я вдруг осознал, что из заказного мною одного часа минутки-секунды уже безвозвратно убегают.

– Антон Павлович, вы же не мистик, как Гоголь. Вы всегда были и остаётесь реалистом. Поверьте, я, в самом деле, из будущего. И здесь, у вас, совсем ненадолго! Давайте просто поговорим. Пожалуйста!

Чехов улыбнулся, печально и устало:

– Так вы и Николаю Васильевичу... визит нанесли?

Он сел в низкое широкое кресло напротив меня.

– Может быть, чаю? Я попрошу принести.

А время – я это просто кожей чувствовал – не просто шло, оно бежало; летело стремительно и безжалостно. Боже, подумалось, а я ещё ни о чём серьёзном даже не начал говорить с ним!

И я решился.

– Антон Павлович, хотите цитату? Из вашего письма к старшему брату, Александру. Написано в 1887 году. «Скажи, пожалуйста, душа моя, когда я буду жить по-человечески, т. е. работать и не нуждаться? Теперь я и работаю, и нуждаюсь, и порчу свою репутацию необходимостью работать херовое».

Он выпрямился в своём кресле, плотно прижавшись к спинке, крепко сжал руками подлокотники. Я продолжал:

– «Пожалуйста» написано именно так, с двумя ошибками, душа – через «я». Антон Павлович, насколько знаю, вы позволяли себе подобные языковые вольности только в переписке со старшим братом. «Херовое», извините, тоже из того же письма. Помните его?

Чехов заметно побледнел. Он встал с кресла, нервно прошёлся по комнате.

– Откуда? Как вы узнали?

Ничего не оставалось делать, кроме как сказать правду:

– Ваши письма опубликованы, вот я и привожу цитату.

– Мои письма? Опубликованы? Кем? По какому праву?!

– Антон Павлович, вас... простите, после вашей смерти... признают классиком русской литературы, ваши произведения будут изучаться в учебных заведениях, много переиз-

даваться. Потому и письма будут опубликованы. В том числе, ваша переписка с Сувориным, с Билибиным, со многими другими.

На него было больно смотреть.

– Как же так... Но это же мои письма, моя личная жизнь! Кто имел право?... Пойдите, и даже сугубо личные послания – к жене тоже?..

– Увы... Помните, как вы называли в письмах Ольгу Леонардовну? «Славная моя актрисочка», «Дусик». А то писали и так – «Здравствуй, собака!»

Чехов порывисто встал, потом опять опустился в кресло, низко склонил голову, обхватил её руками, ссутулился и замер в этой позе.

В эту минуту я уже пожалел о своей авантюрной затее.

– Антон Павлович, как бы понятнее... В общем, это будет уже другое время, совсем другая Россия, другие законы, другая власть. Поверьте... подробности вам лучше не знать.

Он резко встал.

– Нет, уж, милейший, позвольте! Вы поймите: ведь это даже не перлюстрация! Это... это чёрт знает что! Читать чужие письма – это мерзко, подло, наконец! Тем более – публиковать!

«Ох, старик, хоть бы ты не соврал, – подумал я, вспоминая хозяина странной лавки. – Хоть бы он не помнил этого разговора...»

– Не знаю, Антон Павлович, станет ли вам от этого легче,

но той же участи удостоились и иные ваши коллеги по перу, признанные классиками отечественной литературы. Их переписка тоже увидела свет.

Чехов опять сел за стол. Долго смотрел куда-то в угол комнаты.

– Скажите. Ну, раз вы оттуда... из будущего... Может быть, вам по силам как-то изменить это? Нельзя ли... отменить публикацию моей переписки?

Я вынужден был ответить:

– Увы, Антон Павлович. Никто не вправе изменить историю...

Чехов сник, сделался каким-то жалким, незащитным.

– Понимаете, я почувствовал себя человеком, который долго жил в своём доме и только сейчас заметил глазок в двери, ведущей в спальню... Зачем вы здесь? Чтобы сказать мне всё это? Сделать мне больно?..

– Нет, что вы! Совсем наоборот!

Боже, дай мне сил и слов...

– Антон Павлович, я знаю, сейчас вам очень тяжело, буквально вчера вы присутствовали при полном провале вашей «Чайки». Но, поверьте, это было роковое стечение обстоятельств. Несколько позже вашу «Чайку» поставят в другом театре, и она будет иметь огромный успех. Её начнут ставить в разных странах, и там она тоже пойдёт на ура!

Вот тут он, наконец, надел своё пенсне. Долго смотрел на меня сквозь стёкла, потом тихо сказал:

– Знаете. Давайте так. Будем считать, что я... почти поверил вам... Оставим мою переписку. Хотя... Знай я о том, что ждёт меня и моё имя в будущем – поверьте, вообще никогда не взялся бы за перо!

Он встал и начал размеренно ходить вдоль письменного стола.

– Раз вы оттуда... раз всё знаете... скажите: что случилось там, на премьере? Вы ведь читали прессу?

Он нервно взял со стола газеты.

– Вот, извольте, «Биржевые ведомости»: «Это не чайка, просто дичь». «Сын отечества»: «Пьеса провалилась... так, как редко проваливались пьесы вообще». А каково читать «Петербургский листок»: «“Чайка” погибла. Её убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчёл, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно, ядовито было шиканье». Скажите, за что они меня так?..

Я помолчал, собираясь с мыслями.

– Антон Павлович, вспомните: вы ведь вынашивали сюжет «Чайки» не один год. Вам хотелось освободиться от штампов и пойти против «условий сцены», верно? В этом всё и дело. Вас не поняли. Вы опередили своё время!

– Да, «Чайка» виделась мне как трагичнейшая комедия в русской комедиографии, – тихо ответил он.

– Вот-вот, обратите внимание: вы и сейчас называли пьесу комедией! И публика ждала именно смешного! Не случайно комедийная актриса Елизавета Левкеева избрала «Чай-

ку» для собственного бенефиса. Зрители ждали появления на сцене именно Левкеевой, однако роли для неё в спектакле не нашлось, и в тот же вечер бенефициантка играла в водевиле «Счастливым днём». Всё так, ваши биографы ничего не напутали?

– Да-да...

– А кто первым поставил «Чайку»? Евтихий Карпов, верно? Судя по всему, режиссёр совершенно не понял, не осознал всю глубину пьесы. Как, впрочем, и большинство актёров. За исключением, разве что, Веры Комиссаржевской, которую вы так любили. Простите... любите.

– О да, Вера Фёдоровна – просто чудо! Вот уж кто всегда понимал меня как никто. Бедная, ведь она играла на премьере, едва сдерживая рыдания – перед ней, в зале, сидела шикающая, даже свистящая публика...

– Антон, Павлович, а правда, что Евтихия Карпова вы... недолюбливаете?

Чехов грустно улыбнулся.

– Признаюсь честно: долюбливать этого человека мне не за что. Во всяком случае, едва ли кто-то осмелится назвать наши с ним отношения дружескими.

Между тем – я всё острее ощущал это – оплаченный годом моей жизни час истекал.

– Антон Павлович, а как вы относитесь к Немировичу-Данченко? И к Станиславскому?

– О, это совсем иное! Это весьма и весьма талантливые

люди!

Я улыбнулся.

– Так вот, знайте: как бы вы не отказывались, Немирович-Данченко уговорит вас, и вы разрешите ему поставить «Чайку» на сцене МХАТа. Над постановкой будет работать и Станиславский. Он же, кстати, сыграет Тригорина. В спектакле будут заняты ваша жена Ольга Леонардовна, Всеволод Мейерхольд, Мария Роксанова. И справедливость восторжествует – будет полный триумф, поверьте!

Чехов долго молчал, погружённый в свои мысли. Потом поднял на меня глаза.

– Господи, как бы мне хотелось верить... Как хочется увидеть это...

Я вскочил с дивана:

– Так ведь увидите, Антон Павлович, увидите! Это будет... настоящая феерия! Вспоминая об этом, Станиславский потом признается: «Наконец, мы почувствовали успех, и неимоверно взволнованные, стали обнимать друг друга, как обнимаются в пасхальную ночь». Вы только потерпите, Антон Павлович.

Он рассеянно вертел в руках своё пенсне.

– Долго?

– Два года. С небольшим.

Он задумался.

– Долго... Я ведь болен, вы, наверное, знаете. Два года – это сейчас для меня немалый срок.

– Да, Антон Павлович, о вашей болезни мне, к сожалению, известно...

Тут он подсел ко мне на диван близко-близко, вплотную, и крепко сжал мою руку.

– Скажите... Вы же можете сказать, вы знаете? Когда я умру?

У меня перед глазами мелькнули знакомые строки из Википедии, фотографический портрет писателя, умный, чуть ироничный взгляд. Я отнял у Чехова свою руку.

– Антон Павлович, вам ведь известно: время ухода человека из этого мира не нам определять. У каждого свой срок. Знаете, тот странный человек, что отправил меня сюда, к вам, сказал, что после этой встречи вы не будете помнить о ней. И всё же... позвольте, я не стану отвечать вам на ваш вопрос.

Он помолчал, вздохнул.

– Что ж, воля ваша.

Потом пристально взглянул мне в глаза.

– Однако... хотя бы диагноз. Всё-таки чахотка?..

Мне вспомнилось прочитанное в Интернете. В 2018 году английские учёные опубликовали результаты своих исследований. Они изучили химический состав проб с пятна крови на рубашке, в которой умер писатель. Были обнаружены протеины, способствовавшие образованию тромба. Он, как считают исследователи, привёл к закупорке сосудов, последующему кровоизлиянию в мозг и, в конечном итоге, стал

причиной смерти. Если б не этот тромб, Чехов, наверное, прожил бы со своим туберкулёзом ещё не один год.

Пока я раздумывал, говорить ли об этом, он опять взял меня за руку.

– Знаете, Бог с ним, с диагнозом! В конце концов, какая разница, от чего умирать. Скажите лучше: вы, в самом деле, ничего не можете сделать с моими письмами? Никак нельзя... воспрепятствовать их опубликованию? Господи, как это скверно...

...И тут время вышло. Я вновь оказался в той же полутёмной лавочке. И напротив меня сидел тот же странный старик, хозяин ломбарда. Сидел и молча смотрел на меня.

Забыв попрощаться, я вышел.

Тихое, застенчивое бабье лето ласково обволакивало всё вокруг своей невзрачной красотой. Я медленно шёл по узкой улочке старинного купеческого города, не замечая ничего вокруг. Шёл и нёс с собой, внутри себя тёплое, одновременно и тревожно-радостное, и грустное, щемящее чувство – ощущение прикосновения чеховской руки.

2022 г.

Поживем ещё!

Сколько помню, пил Серый всегда и помногу. Но пил как-то тихо, неприметно, никому не мешая. Ближе к концу смены «скооперируется» в цехе с дружками-алконавтами, «дернет» красенького. По дороге домой пару пива в пивнушке

примет. А уж дома «четвёрочкой» с удовольствием «догоняется». До вырезвителя никогда не доходило, под забором Серый тоже не валялся, однако и трезвого его застать было невозможно.

С годами выработался у него этот привычный жизненный маршрут, с которого он, за редким исключением, никогда не сходил: завод – пивнушка – гастронорм – дом – утром опять завод. Время от времени добавлялся ещё пункт приёма стеклопосуды. Сдав «пушнину», Серый, разумеется, заворачивал в тот же гастронорм и «конвертировал» вырученную сумму в очередную порцию спиртного.

Росточка невеликого, сухонький, как подросток, сутуловатый, он ещё и заикается. Зато жена его, Серафима – женщина дородная, видная, кровь с молоком. Как Серому в молодости удалось окрутить такую, понять мудрено. Хотя давно замечено: есть в таких вот мелких, но жилистых мужиках что-то такое, за что сильно любят их бабы.

Мужнино питьё Серафиме, понятно, не в жилу. Хоть и работает Серый справно, и ведёт себя спокойно, по отношению к супруге уважительно – он вообще человек безвредный, но кому понравится, когда каждый день-то глаза у человека залиты. Это тоже понять надо.

– Хоть бы уж на старости за ум взялся, – негромко выговаривает Серафима мужу.

– А... а... а я что? П... п... пропиваю, что ли, все? Или м... м... мешаю кому жить?

– Да ведь сторишь ты совсем с этим вином – постольку глотать-то!

– Н... н... не сторел ведь п-пока...

– Только что «пока». Небось, недолго осталось, если так глотать.

– Н... не... не м-мешаю никому.

Двое их сыновей уже взрослые, в доме достаток, но это каждодневное пьянство кого хочешь достанет. Даже такую спокойную женщину, как Серафима.

И вот как-то удалось ей уговорить мужа закодироваться. На год.

Закодировали. День живет Серый трезвый, неделю. Терпимо вроде. Только не хватает чего-то. Словно с круга сбился человек. Ему бы после завода в гастроном сбегать – а зачем? Ужинать садятся, Серому бы стаканчик принять – а нету. И, что самое противное, не хочется.

Изумился тогда Серый («К... к... как люди т-так жить могут?») и заскучал. Да нет, не то слово – в тоску неуёмную впал, во как! Прямо не знает, куда деть себя. Глаза грустные, как у не доеной коровы, плечи поникли больше прежнего. Сядет, бывало, вечером на лавочку возле подъезда и смотрит куда-то в неведомое, курит, молчит подолгу, тягуче.

А через месяц – как-то случайно вышло – все стало на место. Теперь так: приходит трезвый человек с завода, умывается, берет авоську и шагает в гастроном. Покупает пару бутылок лимонада, за ужином чинно выпивает стакан-дру-

гой сладенького и... всё. По мере накопления стеклотары Серый, как и прежде, набивает старенький рюкзак и плетётся к пункту приёма «пушнины», на вырученные деньги опять берет лимонаду. Сдачу – жене. Единственно, в пивнушку ходить перестал: там лимонад не держат.

Сима прямо расцвела вся от такой жизни. Слышно, даже к тому доктору, что кодировал, ходила, какой-то презент ему отнесла.

Да и сам Серый посвежел с лица, округлился, даже слегка зарумянил щеками, что твоя девка на выданье. В компаниях он бывать не перестал. А компании его, известно, все те же: скинуться, гонца послать да «принять на душу». Серый друзей не бросал. Садился со всеми, как и прежде, клал на общий стол немудреную закуску, наливал в свой стакан лимонадику и чокался с друзьями. К незлым насмешкам приятелей он вскорости привык, да и надоело им всем подначивать его. Что удивительно, после таких застолий глаза у Серого начинали блестеть, словно и он тоже «приобщился к высокому искусству».

Проходит год. Захожу как-то в пивнушку – Серый сидит с кружкой.

– Ты что, Серый? А кодировка?

– В... в... вчера год исполнился. Теперь м... м... можно.

– Опять керосинить будешь?

– Не, я только п-п-по кружечке. П... п... по одной.

«По кружечке» Серый принимал недолго, потом перешел

на две, потом стал садиться с друзьями за общий стол, но теперь уже без лимонада...

Еще через неделю Серафима сводила мужа к тому же доктору, и Серого снова закодировали. Только теперь он уже не тосковал: сразу схватил авоську – и в гастроном, за лимонадом. Продавщица Люська подначивает по-доброму:

– Что, Серенький, опять на сладенькое потянуло?

Серый улыбается выцветшими глазками и мелко кивает:

– К... к... опять! П-поживем ещё.

Дома его ждёт довольная Серафима.

1989 г.

Прости, дед...

Старшему лейтенанту Чичинову А. Л.,

погибшему в 1945-м под Познанью, посвящается.

...Наверное, я мог бы как-то «вырулить» из той ситуации.

Но ведомый – совсем мальчишка, без боевого опыта – отстал от меня, пришлось «бодаться» с тремя «мессерами» в одиночку.

Очередь МЕ-109-го пришлась в мотор. Мой МиГ сначала задымил, потом движок заклинило, и самолёт начал падать.

Случалось, немцы грешили этим: расстреливали спускающегося с парашютом лётчика. В этот раз обошлось.

Вовремя сгруппировался, приземлился нормально. Начал соображать: где линия фронта, куда двигаться к своим?

И тут память швырнула меня куда-то далеко-далеко...

Я никогда не верил в чудеса. Сколько помнил себя, всегда старался объяснить «необъяснимое» с позиций законов физики, той же аэродинамики. Но тот мой первый самостоятельный вылет на истребителе много лет не давал мне покоя. Как раз своей «необъяснимостью».

Инструктор сразу выделил меня среди других курсантов. Чувство машины – это не всякому дано. За рулём автомобиля тоже каждый ведёт себя по-разному. Кто-то вызубрил теорию, потом начал ездить – а всё равно, один делает это «легко и небрежно», а другому так до конца жизни и не удаётся «срастись» со своим «конём на колёсах». То же самое и с самолётами.

Я сразу, с ознакомительного вылета, почувствовал машину. Понятно, до опыта и самостоятельных полётов было ещё далеко. Но какое-то «родство душ» с этой ревущей штуковиной я ощутил уже тогда.

У лётчиков-инструкторов есть такое негласное соревнование: чей курсант первым совершит самостоятельный полёт. Амбиции? Да, наверное. Но... авиация всегда стояла таким особняком в рядах вооружённых сил. Летуны даже придумали для себя отмазку: «Когда Бог раздавал уставы, авиация была в воздухе».

Инструктор сделал ставку именно на меня. В плановой таблице мне давалось куда больше вылетов, чем другим курсантам. Иногда даже нарушались правила: больше трёх вы-

летов новичку за день не положено (требование врачей), но у меня бывало и по четыре, и даже по пять заправок.

В день, когда надо было вылетать самостоятельно, выяснилось, что у меня не хватает для этого одного парашютного прыжка. Командир звена аж подпрыгнул:

– Ты куда смотрел?! – окрысился он на инструктора. – Почему не контролировал? Ведь сегодня же и у Яшки из третьего звена первый самостоятельный! Нам что, вторыми быть?

Командир звена побежал к РП (руководителю полётов), быстро вернулся:

– Игорь, бегом к «Аннушке», я договорился, тебя сейчас быстренько сбросят, потом полетишь сам. Нам, главное, Яшку опередить.

Наверное, никогда, ни до, ни после этого случая я не получал такую дозу адреналина. Кстати, медики категорически запрещают лётчикам в один день и прыгать с парашютом, и летать. Но – авиация же...

Специально для меня (!) запустили АН-2, дали мне какой-то парашют (вообще-то, курсанту положено самому укладывать), быстренько сбросили меня с высоты 900 метров, после приземления ко мне тут же подъехал на УАЗике тот самый «кэз» (командир звена).

– Бросай парашют, ребята соберут!

Я сел в кабину самолёта. Загерметизировался. И пошёл в свой первый самостоятельный полёт...

Странное это было ощущение. Вроде бы только что был на дворе 2022-й год, я – давно уже расставшийся с авиацией, можно сказать, пожилой человек – и вдруг: Великая Отечественная, сбили, приземлился, надо искать своих...

Вот тогда-то и вспомнилось. Какая-то забавная штуkenция, найденная мною на чердаке старого, под слом, дома. И там – подобие дисплея. С цифрами.

Когда я много раз смотрел на фотографию своего деда по отцу (ох, и красив был Чичинов А. Л.), мне всегда приходила в голову одна и та же мысль: «Эх, дед, как же тебя угораздило, до старлея дослужился, прошёл огонь и воду – 1945-й год, войне конец, а тебя убили...»

И мне – несмотря на то, что никогда не верил в чудеса – очень хотелось чуда. Этакую машину времени – чтобы попасть туда, в 1945-й, и как-то прикрыть, спасти деда от смерти.

И вот – эта странная «штуkenция». С запылённым дисплеем. Я просто машинально набрал «апрель 1945». И нажал «Enter».

...И тут меня сбили.

Я попытался вспомнить полётную карту. Так, граница с Польшей – мы давно уже на этой территории. Я вылетел с аэродрома «подскока», здесь совсем рядом. Пока кружился с «мессерами», не до наземных ориентиров было. Где наши?

И тут – сдавленным голосом:

– Лётчик, ты где?

– Здесь я.

Трое ребят, пехотинцы. Улыбки до ушей:

– Хорошо ты упал – ближе к нашей линии. Боялись, что фрицы тебя захватят. Давай за нами.

А в том моём первом самостоятельном вылете опять же сыграли свою роль амбиции. «Борт» мне достался старенький, лобовое бронестекло пожелтело, взлёт был против солнца, колхозники жгли в это время солому, дым мешал наземной ориентировке. Ну, и, конечно, волнение, нервы – куда без этого.

В общем, я изначально неверно построил маршрут, на первом-втором развороте дал лишнего крена, начал заходить на посадку и понял – не вписываюсь. Чуть-чуть, но не попадаю на нормальную глиссаду.

Это уже потом, позже, когда с налётом часов появился опыт, я подобные ошибки в пилотировании исправлял легко. А в тот день просто даванул ручку управления резко влево и на себя, практически до упора. И прибавил оборотов двигателя до максимума. И до последнего надеялся, что «впишусь», что не придётся уходить на второй круг (ай, какой позор перед друзьями-курсантами).

Руководитель полётов увидел меня на четвёртом развороте – висящим этакой вороной, практически падающим с креном более 50 градусов – и заорал в голос:

– «Два-двадцать-девять», на второй круг!!!

И я ушёл на второй круг. Спокойно завершил полёт и нормально сел. А вечером получил свою долю подначек от друзей.

И ещё был разговор с лётчиком-инструктором, неофициальный разбор полётов.

– Игорь, что там у тебя на четвёртом развороте произошло?

Я рассказал всё, как было. Все параметры полёта. Инструктор – молодой мужчина, лет 30-ти – сделался белее снега.

– Что ж ты делаешь?.. У меня же двое детей. Если б ты гробанулся, меня посадили бы.

В общем, выяснилось: по всем законам аэродинамики, тот мой самостоятельный вылет просто обязан был закончиться катастрофой. После падения самолёта мои останки выкапывали бы метров с трёх из-под земли, чтобы родителям хоть что-то отплатить для похорон.

В чудеса я так и не верил. Но этот день запомнил навсегда. И не находил ответа на вопрос: почему не погиб тогда?

– Ребята, мне бы сообщить начальству...

– Да ладно, летун, уже позвонили куда надо! Завтра придут за тобой. Пока ты наш гость. Моли Бога, что так обошлось.

Странно. Моя психика продолжала «работать» в обычном

ритме. Словно и не было этого необъяснимого, фантастического скачка во времени. Я смотрел на солдат – в гимнастёрках того времени, я пил с ними водку, сам смотрел на своё обмундирование, тоже военное. И... не удивлялся. Почти.

Мысль была только одна: «Неужели я так много думал о том, чтобы мне оказаться в этом 1945-м, чтобы попытаться как-то спасти деда?»

– Народ, послушайте, а никто из вас не знает такого старшего лейтенанта Чичинова?

– Как? Чичинов? Нет, у нас во взводе такого нет.

Тут подал голос солдатик, сидевший поодаль:

– А что это за фамилия? Вроде не русская.

– Да, – ответил я, – алтайская.

– А, так алтаец есть у нас один – в другом взводе. Вроде похожая фамилия. Он тебе кто – родственник?

Дыхание перехватило.

– Ребята, а как мне его увидеть?

– Так поздно же уже. Ночь на дворе. Давай, завтра попытаемся его найти.

...А на следующий день мой дед погиб. В 1945-м. Под Познанию.

2022 г.

Как Ромашка девочку вылечила

Почти сказка

В небольшом городе, далеко-далеко от Москвы и Санкт-

Петербурга, жила одна девочка. Она не могла ходить. В раннем детстве у неё заболели ножки, и с тех пор она ездила в специальной коляске. Вернее, она не сама ездила – когда надо было куда-то поехать, её в этой коляске катали мама и папа. Иногда бабушка.

Когда девочка была дома, она часто смотрела в окно. На улице всё время резвились дети. Они катались на качелях, весело прыгали через скакалку и играли в «догонялки». Девочке тоже очень хотелось поиграть с детьми. Но играть в «догонялки», сидя в коляске, сами понимаете, не очень-то удобно. Если уж совсем честно, то просто не возможно.

Наверное, поэтому девочка все время грустила. Она мало улыбалась, говорила всегда тихим голосом, и ей совсем редко снились хорошие сны. А если такое и случалось, то снилось всегда одно и то же: как она скачет по какой-то чудесной лесной полянке, собирает там цветы и сплетает из них красивые венки.

А ещё в этом городе, хоть он и небольшой, был свой зоопарк. И там жила маленькая симпатичная лошадка – пони со смешным именем Ромашка. Из всех зверей в зоопарке детям почему-то больше всего нравилась именно Ромашка. Они приносили ей всякие вкусные лакомства, и лошадка с удовольствием поедала их. Больше всего она любила морковь.

В соседнем с Ромашкой вольере жили её дальние родственники – два огромных тяжеловоза. Это такая порода лошадей, они очень сильные и могут легко перевозить на себе

тяжелые грузы. Директор зоопарка нарочно распорядился, чтобы большие тяжеловозы находились рядом с Ромашкой: чтобы посетители видели, какие бывают лошади – огромные, ростом почти со слона, и совсем маленькие.

Однажды родители девочки повезли её в зоопарк – показать зверей. Ей там, как и всем другим детям, больше всего понравилась пони, и девочка попросила родителей подольше постоять около вольера Ромашки.

А надо сказать, что у Ромашки была одна чудесная особенность: она понимала язык людей. Только никто не знал об этом. Даже звери в зоопарке. А саму Ромашку понимали только её соседи-тяжеловозы. Потому что, они были хоть и огромные, но тоже лошади. В общем, у них с Ромашкой был один, общий язык – лошадиный.

Когда родители подвезли коляску к вольеру Ромашки, та сразу увидела, какие грустные у девочки глаза. А потом к родителям подошли их знакомые и заговорили о девочке, о том, как вылечить её больные ножки. И тогда Ромашка услышала от них какое-то новое для себя и очень трудное слово, которое она не запомнила.

После закрытия зоопарка, когда все посетители ушли, и звери остались одни, Ромашка спросила своих родственников-тяжеловозов:

– Извините, вы не знаете, почему одну девочку сегодня все время возили в коляске?

Оказалось, большие лошади окончили специальную ло-

шадину школу, и им было это известно:

– Эта коляска называется инвалидной. Девочка не может ходить, у неё больные ножки.

– Как грустно... – откликнулась Ромашка. – И ей ничем нельзя помочь?

– Возможно, помочь ей сможешь ты, – отвечали тяжело-возы.

– Но как? Разве лошадь, особенно такая маленькая лошадка, как я, может помочь человеку вылечиться?

– Возможно, девочке могла бы помочь иппотерапия. Так люди называют вид лечения, в котором участвуем мы, лошади. Ведь «иппос» по-латыни (есть такой человеческий язык) и означает «лошадь». Люди просто катаются на нас верхом, и от этого некоторые их болезни отступают.

И тут Ромашка вспомнила: ну, конечно, взрослые, говоря о девочке, упоминали сегодня именно это сложное слово – иппотерапия! И она решила, во что бы то ни стало, помочь девочке. И с тех пор стала пристально высматривать её среди других детей, проходящих в зоопарк.

Девочка появилась буквально на следующий день: она попросила родителей опять привезти её сюда, чтобы угостить морковкой Ромашку, которая так понравилась ей. А лошадка, как только увидела коляску, тихонько открыла свой вольтер (она давно умела делать это, только никому не признавалась) и подошла к девочке.

Все вокруг, конечно, удивились – как это пони оказалась

на воле. Одна строгая тётя даже срочно вызвала директора зоопарка, чтобы он навел порядок. Но он оказался очень умным и добрым директором. Увидев, как девочка ласково перебирает гриву лошадки, а Ромашка с аппетитом грызет морковку, он сразу понял, что они подружились. Директор подошёл к ним и сказал:

– Девочка, а ты не хочешь покататься на пони?

И тут же посадил её верхом на Ромашку. Лошадка взмахнула своим маленьким хвостиком и тихонько пошла по дорожке, осторожно неся свою драгоценную ношу. А рядом шли взволнованные родители девочки. Сама же она слегка покраснелась от удовольствия, глаза её заблестели, и она впервые за долгое время весело заулыбалась.

С тех пор девочку стали привозить в зоопарк каждый день, директор распорядился, чтобы Ромашку выпускали из вольера, и та катала свою новую подружку.

А ещё через некоторое время случилось чудо: в один из дней, когда пони закончила катать девочку, та вдруг попросила родителей не сажать её в коляску.

– Я хочу обнять Ромашку, – сказала она.

И... встала рядом с лошадкой! А когда Ромашка сделала один шагок на своих маленьких ножках, девочка тоже шагнула в обнимку с ней. Потом они вместе сделали ещё один шаг, и ещё, и ещё...

Так маленькая лошадка и вылечила девочку. И та – уже без коляски, на своих ножках – каждый день прибегала в зоо-

парк к своей подружке и все время приносила ей какие-нибудь очень вкусные вкусности. А однажды даже принесла красивый синий бант и повязала на шею Ромашки.

С тех пор пони щеголяла перед посетителями в своем красивом наряде, а дети показывали на нее родителям и кричали: «Вот, смотрите, смотрите, это та самая, очень-очень лечебная лошадка!»

2013 г.

АПОКАЛИПСИС

Первыми на ситуацию отреагировали специалисты NASA. Доложили в Генштаб. Оттуда незамедлительно связались с Президентом.

– Господин Президент! На околоземной орбите обнаружен неопознанный объект. По нашим сведениям, он не принадлежит ни нашим военно-космическим силам, ни аналогичным структурам других стран.

– Как ведёт себя объект?

– Пока просто облетает Землю на геостационарной орбите – это несколько больше 22 тысяч миль. Сделал уже семь витков. К Земле не приближается, никаких сигналов не подаёт.

– Пытались связаться с ним?

– Да, сэр. Всеми возможными способами. Объект не реагирует.

Президент помедлил.

– Вы уверены, что это не русские? От них чего угодно

можно ждать.

В ответе начальника Генштаба прозвучала полная уверенность:

– Нет, господин Президент. Это не русские. Иначе мы бы знали, поверьте!

– Китай? Индия? Пакистан?

– Нет, сэр, аналитики уже всё просчитали, максимально оперативно подключены наши резидентуры в указанных вами странах – в данном случае все они исключены.

На другой стороне океана тоже последовала реакция.

– Товарищ Главком! Неопознанный объект на околоземной орбите! Удаление 36 тысяч километров. Сигналов не подаёт. На наши запросы «свой-чужой» не отвечает.

– К Земле приближается?

– Никак нет!

– Главкома Военно-космических сил мне на связь, быстро!

– Есть!

Через две минуты:

– Товарищ Главнокомандующий, Главком ВКС на связи!

– Что у нас там за хрень на орбите?

– Уточняем, товарищ Главнокомандующий!

– Точно, не наша?

– Никак нет! Я бы знал.

– Может, китайцы? Корейцы? Пакистан?

– Нет, товарищ Главком, это точно не они.

– Тогда, выходит, ИХ хрень-то летает!

– ...Уточняем.

– Так уточняйте быстрее, вашу мать! Вы что, хотите, чтобы они первыми нанесли удар?!

– Есть! Так точно! Как только уточню – доложу!

...И тут началось. Информационные телеканалы во всех странах прекратили своё вещание. Две секунды экраны были чёрными, а потом везде, во всех странах, на всех телеэкранах возникло изображение Земли – так, как эта планета выглядит из космоса. И зазвучал голос.

Было трудно понять – мужской или женский, модуляция оказалась непривычной для слуха человека. Но в каждой стране он звучал на языке, понятном всем.

– Земляне! Вы давно ждали апокалипсиса. Это время пришло. Из столетия в столетие вы изобретали всё новые орудия убийства друг друга. Вы накопили столько оружия, что оно уже не может просто так лежать на складах. Это не выгодно производителям и продавцам оружия, им нужно всё больше прибыли. Правители ваших стран так или иначе участвуют в этом бизнесе. Поэтому от локальных войн они готовы перейти к очередной мировой войне, в которой будет задействовано и ядерное оружие. Это и будет конец вашей планеты, всей вашей земной цивилизации – или, как вы называете, апокалипсис. Мы хотим помочь вам выжить. Мы даём вам шанс на выживание. В наших силах перенаправить все ядерные ракеты в точки их запуска. Если хотите совершить

самоубийство – нажимайте на ваши красные кнопки. Но ваши же ракеты полетят к вам обратно, и вы погибнете. Подумайте! У вас осталось несколько минут.

– Господин Президент, каково ваше решение?..

– Товарищ Главнокомандующий, мы ждём приказа!..

Тут кто-то нервно нажал на красную кнопку.

– Атака! На нас летит ракета!!!

С другой стороны тоже нажали на кнопку «пуск».

...Голоса с непривычной для слуха человека модуляцией:

– Ну, вот, всё и кончилось.

– Да, на удивление, быстро. По астрономическим меркам, конечно. Им же так и не удалось познать Вечность.

– Они просто были запрограммированы на самоуничтожение. Зато теперь планета чиста для заселения новым видом. Будем надеяться, хоть он окажется более разумным.

2023 г.

Диалог за чашкой кофе

– Ну, что там, на Земле?

– Странно, что спрашиваешь. Ты ж всеведущий.

– Думаешь, я каждый день, каждый час, минуту отслеживаю там ситуацию? Сам знаешь – у меня миров много. Это ты там постоянно... души отлавливаешь. Потому и спрашиваю. Итак?

– Да ничего нового. Живут. Плодятся. Как ты и заповедовал.

– В духовном развитии прогресс есть?

– Если в целом брать человечество, это вряд ли. Кто уверовал в тебя – стараются как-то. Остальным по барабану: по-прежнему, жрут, пьют, занимаются сексом, зарабатывают деньги. Государства тратят огромные деньги на вооружение. С разной степенью в разных странах процветают торговля оружием, наркотиками, повсюду коррупция. В нищих регионах по-прежнему люди – включая детей – умирают от нехватки воды, еды. В общем, ничего нового.

– К своей биологической смерти у них отношение изменилось?

– Тут креатив сплошной. Кто-то уверовал в переселение душ – тела родственников сжигают на кострах, пепел развешивают над реками-горами, потом часть этого пепла в чай бросают и пьют. В некоторых племенах даже положено этот пепел съесть – подмешав в еду. У христиан по-своему, у мусульман и прочих – у всех свои обычаи. В общем, как боялись они смерти, так и боятся. Потому что, не знают, что после неё.

– Ну, это нормально. Это правильно. Пусть боятся. Хоть чего-нибудь пусть боятся. А о спасении души думают, помнят?

– Всё меньше. Бытовуха их захватила. Всё и все покупают-продают. Меркантильные стали до скучного. Работа, зарплата, квартиры, автомобили, ипотека... Я ж говорил тебе – моя власть приходит.

– Твоя?!

(смеётся)

– Помни своё место! Забыл? В этом мире всё должно быть в равновесии. Мне – своя чаша, тебе – своя. Всё закончится только тогда, когда какая-то чаша перевесит. И не иначе!

– Ну, да, конечно, прости... Как всегда, прав. Послушай, если честно, заскучал я здесь. Может, ты меня куда-нибудь в другое место отправишь?

– Сам знаешь: невозможно. Твоё место здесь. Чтобы они понимали: есть чёрное – и есть белое. Чтобы видели разницу.

– Тебе хорошо: ты всегда – свет, спасение. А я – тьма, низвержение, грех. Может, я тоже хотел бы помогать им. Чтобы они благодарили меня...

– Так ты и помогаешь. По-своему. Именно на твоём фоне я и свет, и спасение. Не будь тебя, они этого не поняли бы. Для того я тебя и создал. Терпи.

– Вечно?

– У тебя есть варианты?

– Нет...

2023 г.